
...люцифериада/повесть

Все ждали *дьяволиаду*, но, вычитав из повести, которую я выложил в сеть, что не бес вселяется в человека, а человек зачинает, вынашивает и изгоняет из себя падшего духа, читатели стали крутить пальцем у виска: мол, автор не в себе, — что, впрочем, не далеко от истины. Ведь быть в своей тарелке значит отдавать себе отчёт в происходящем. Угодив же в дьявольскую стремнину, я топором пошёл на дно, и если бы не рука, протянутая свыше, давно бы кормил рыб. Оставленный на плаву светлым духом, я вдруг понял, что зло всегда *моё*, что я и семя, и произрастание, и плод зла, и что даже если *другой* позволит погибели свить гнездо и вывести птенцов, будет кормить их сырым мясом из рук, напасть и глазом не поведёт. Зло не похлопает по плечу постороннего, даже если тот трижды убийца и насильник. А всё потому, что злу нет дела до *посторонних*. Злой дух счастлив, когда я рядом. Злой дух — однолюб. Вот, что я вынес, зарабатывая извозом у бесов, осёдлывавших мой ум и сердце, чтобы пускать, то иноходью, то рысью, то галопом.

Я сел за повесть о Люцифере и вдруг понял, что зло сидит во мне, как герпес, ждущий непогоды, чтобы обсыпать слизистую, что угли зла тлеют в душах из века в век, но что одни топчут пламя, а другие — раздувают. Но только я решил открыть миру глаза, как повесть стала вить из меня верёвки, таскать за волосы и лишать сна. Я измотан, выжат как лимон, а ум мой походит на рынок после закрытия, где на прилавках хоть шаром покати: одни сюжеты провоняли, как тунцы на солнцепёке, другие — свалялись, как руно запаршивевших овец... И вот я стал выработкой, из которой шурфами вынули породу... К тому же я стряпаю без поваренной книги, и, не недалеко тот час, когда редакторские желудки выбросят белый флаг. Но случится это не скоро. Ведь, скатившись кубарем в яму, я завёл тетрадку, куда заносу ухабы/ушибы. Их подсчитывают читатели с карандашом в руке, точно решая сканворд. И пока проза моя кровоточит, совать нос в трюм корабля, терпящего бедствие, не выходит из моды... Но не стоит искать меня в шорт-листах литературных премий. И хотя я снял короткометражку о детстве Гитлера, имя моё не полощет ветер на афишах Берлина, Венеции и Канна. Я мот, спустивший авансы. И если захотите узнать, куда Господь сплавляет тех, кто не оправдал надежд, садитесь в промозглый петербургский трамвай, где в оранжевом жилете я дремлю в кондукторском кресле. Здесь мой шесток. Здесь, подпрыгивая на ухабах, я жужжу, точно дрозofiла. Меня пытались прихлопнуть, гнали в форточку. Но всякий раз, взывая к повелителю мух, я

отделялся испугом. И вот, обложившись гаджетами, я пишу повесть о падшем духе. Но и повесть, обложившись мной, вымарывает мои «ахи» и «охи», как рукопись незадачливого автора.

«Но довольно!» — я распоясываю абзац, застёгнутый на все пуговицы, и наваливаюсь на повесть, как берут падшую женщину. Отныне я решаю, какую фразу швырнуть на читательский штык, а какую — сунуть за ухо, как изгрызенный плотницкий карандаш. Начать я хочу со слов Иисуса: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме» ¹. В отрочестве, оглушённый этой фразой, до глубокой ночи я петлял под проливным дождём. Я потерял аппетит и сон, на уроках отвечал невпопад, и всё клал на зуб орешек, чьё ядрышко не желало казать носа. Что за напасть такая, что за мука — это «последовать»? И почему тех, кто *последователен*, хвалят, а тех, кто *непоследователен*, ругают? Мысленно я ставил ногу след в след вожатому, шёл по тропе, проторенной товарищем, и чудо произошло — свет явился; свет был во всём: в косых лучах закатного солнца, в белизне книжного обреза, в молоке, которое я пролил на скатерть... Но белизной отдавала и кожа мальчика альбиноса, соседа по парте, — он умер от малокровия. И я запомнил его звенящие светом глаза, когда, однажды он шепнул мне, что с интернатом покончено, а спустя час его увели умирать бабушка и дедушка, сказав классу, что ученику предстоит бить баклуши в санатории. Свет, исходивший от приятеля, с которым мы больше дрались, чем держались за руку, как близнецы, которые боятся, что их разлучат, — этот свет был чёрен, как ночь. Наши койки в казарме для сирот стояли рядом. За окном бушевал ветер, раскачивая столетние ели, а из мрака доносилась ругань ночного сторожа, — хромой старик околачивал забор, опоясывавший спальный корпус. Тогда свет робко казал нос в лампах, раскачиваемых порывом ветра. А когда, войдя в класс, историчка, смахнув слезу, сказала, что мальчик умер, не приходя в сознание, я понял, что свет и смерть — заодно. Ночью меня бил озноб. И, вздрагивая от слёз, вспоминая товарища детских игр, я с благоговением шарил по ледяной койке, чью выправку поддерживал все эти долгие месяцы. Свет мстил! Свет убивал! И если бы тогда, на заре юности, появился взрослый, кто бы разъяснил, что свет — вотчина Люцифера, что бес душу вытрясет за это сокровище, не было бы ни этой печальной истории, ни нужды автору её рассказывать.

Итак, я стал фанатом света, и даже переехал в Москву, где свету поклонялись, как богу. Жрецы называли себя режиссёрами. ВГИК был их храмом.

— И кто же бог? — в шутку спросил я у методистки, вбивавшей моё имя в графу «студенты».

— Люцифер, — перешла на заговорщицкий шёпот девица. — А тех, кто сомневается, я прошу разъяснить, почему Lucifer с латыни переводится, как «светоносный».

Тут она бросила на меня взгляд преподавателя, принимающего зачёт, и спросила:

— Вот «lux», как оно переводится?

— Не знаю...

— Как «свет».

— А «fero»?

— Ума не приложу...

— Как «несу»... Выходит, Люцифер — тот, кто несёт свет... А кино — это свет и тень, это вам любой оператор докажет.

При этом сорока, принёсшая на хвосте сплетню, поспешила откреститься от дьявола, мол, всё это «враки» и «досужие домыслы». Но я сказал, что свет — награда расторопному, и хорошо, если им окажется Господь... Слова мои сорвали с вертихвостки напускной лоск, за которым проступил слабый человек, чьим претензиям мир указал на шесток. Сердце моё смягчилось. А честолюбие потребовало вытащить на свет до боли щемящее воспоминание, обладание которым вознесло бы меня на пьедестал морального превосходства. И я захотел рассказать о бедном мальчике, которого держали в неведении о смерти, стоявшей у изголовья, о промозглом ноябре, когда, надев интернатовские ботинки, не подбитые мехом, казённое пальто, висевшее на мне мешком, я рыдал у свежевырытой могилы, а затем зачерпнул и бросил на детский гробик комья мёрзлой земли. Но со ВГИКом лучше попридержаться коней... Десять раз я обивал его пороги. Но ректор Н. заломил такую цену за диплом, что похоронных денег богомолок Москвы не хватило бы, чтобы оплатить семестр. И, проучившись, год, я был исключён за ветры в карманах... Всю ночь я раздаривал книги и вышел из общежития больным, постаревшим и с тёмными кругами под глазами. Добравшись до киевского вокзала, озябшими пальцами я сунул кассиру деноминированные рубли. Но стоило мне набрать воздух в лёгкие, уже подёрнутые ноябрьским ледком, стоило произнести: «один плацкартный до Львова», как вострить лыжи мне помешали парки и мойры... Но прежде, соткавшись из Ничто́, гигантский зонт-трость насадил меня на штык, а табор, сопровождавший субъекта без особых примет, гомоня, стал оттеснять к выходу.

— Но мой плацкарт, — запротестовал я, и услышал властный голос из вокзального динамика, который, назвав моё имя, потребовал не пытаться садиться в поезд, который, к тому же, «отменён».

— Что за злые шутки, — не унимался я.

— Никаких шуток! — пресёк мои сомнения голос, и велел вернуться на двухстворчатый диван.

— Но зачем? — с тоской и грустью выдавил я из себя, как выдавливают засохшую пасту из тюбика.

— Не глупите и делайте, что велят! — бросил лукавый советчик, хромая на правую ногу, и сверкнул мне на прощание платиной своих коронок. Только я попытался возразить, как меня стало тормозить свиное рыло, набросанное неумелой рукой уличного портретиста.

— Да перестаньте же трясти, вы, не человек! — заорал я, а через час широким жестом ларёчника, спускающего барыш в трактире, выложил перед оторопевшей комендантшей пять новеньких стодолларовых купюр. Деньги взял и бухгалтер, сказав, что теперь я могу посещать лекции. Диплом? Забудьте! И я забыл... Но, забыв, снял короткометражку о детстве Гитлера, после чего побывал в Канне, вновь стал студентом и повторно был исключён... Бес, устроивший эту кутерьму, жадно ловил удивление в глазах публики, для которой «взлёты» и «падения» способствуют пищеварению и проваливают в сон куда глубже, чем неразрезанный роман. Прошло двадцать лет. Прекрасный повод заглянуть в шкаф со скелетами, подумал я и написал письмо новому ректору. Тот набрал в рот воды. И решив, что войти в прошлое также легко, как запрыгнуть в вагон метро, я стал заполнять пустоты и изъятия, как антрополог, извлёкший из русла пересохшей реки череп гоминида, восполняет глиной недостающий фрагмент. Я так поднаторел в реконструкциях, что без труда угодил в 1996-й, когда институтский бухгалтер расторг со мной договор. На прощание он подал руку и посетовал, что режиссура «не каждому по карману».

— Не каждому... — повторяю я, как мантру, и готовлюсь забиться в щель, из которой совершил свой наскок. Но у кассы Киевского вокзала я получаю зонтом в пах.

— Осторожнее, — дерзко уставляюсь на молодящегося старика с копной вороньих волос, красиво отброшенных на затылок. — Ваш зонт... Зачем он, если нет дождя?

Весельчак заводит трость за спину, а шёлковый шарф, полоской бисквита окаймлявший прогорклый корж пальто, изящно перекидывает через плечо. Затем, слегка прихрамывая на левую ногу, он подходит ко мне. Бездонно-чёрные, подёрнутые лазорево-жемчужной дымкой глаза его пускаются в пляс. Меня знобит.

— Вот навязался, — я стучу зубами от холода. А снеговик в ухо мне шепчет леденящие душу слова о фильме, который сварганить можно за гривенник...

— И о чём же? — вяло отстраняю незнакомца и тут же пытаюсь взять в толк: откуда мешок со льдом узнал, что я режиссёр?

— Да вашими афишами Москва обклеена, — смеётся хлыщ раскатисто и по-детски, — а уж я-то слежу-с и знаю-с, что вы, юноша, без пяти минут лауреат, и что фильм затеяли об одном преужасном австрийце...

Сбитый с толку осведомлённостью гражданина, я мучительно ищу в чертах его лица и голосе сходство с теми, кого знал и любил... Тут происходит нечто невероятное: уменьшившись до размера уховёртки, субъект стал вворачиваться в мою барабанную перепонку. Ну, уж дудки! Только собрался выдворить тварь, как бес на роговицу взобрался и давай отплясывать. Что за напасть? Я приложил ладони к вискам, но жара не почувствовал. Рассудив, что ум порой выкидывает и не такие коленца, я выпростался из очереди и стал плута из глаза выковыривать. Но куда там! Чёрт уже в мозгу лютует: осёдлывает мысли и пускает, — то иноходью, то рысью, то галопом...

— Посторонись! — вор угощает плетью мои страхи, надежды и застарелые обиды. Но, изловчившись, я стаскиваю конокрада с рысака и запрыгиваю в седло. Мысль несёт, а у Дома кино, что на Васильевской улице, становится на дыбы и стряхивает седока. Не удержавшись, я выпадаю из седла, но ногой застреваю в стремени и до глубокой ночи волочусь по Садовому кольцу.

Очнувшись на нетопленной летней даче с давилкой для сидра, неделю я отлёживался. А когда нагрянувшие москвичи не обнаружили в холодильнике килограмма сосисок, головки сыра, а в серванте, сосланном двадцатью годами ранее, в сахарнице, не досчитались тысячи двухсот рублей, меня попросили навсегда забыть дорогу в этот дом. На выходе меня встретил бес, сказав, что и не такое бывает, что однажды его обвинили в том, что он «искусал грудь, которая его вскормила...» А всего-то стащил у девицы, сдавшей ему угол, дольку шоколада из плитки, которая, как выяснилось, была просрочена.

— А теперь в Москву, — чёрт втолкнул меня в электричку. — Бухгалтер не любит ждать. И, доехав на перекладных до ВГИКа, я вошёл в бухгалтерию.

— Кажется, мы не договорили, — бросил я с порога и сел на приставной стульчик. — Вы ещё сокрушались, что не каждому кино по карману...

— Что-то не припомню, — бухгалтер оторвал глаза от бумаг.

— Вот деньги, — кладу конверт. — Теперь я могу посещать лекции?

— Разумеется...

— Я вернулся, чтобы доказать вам, но прежде — себе, что фильм можно соткать даже из воздуха...

Бухгалтер пересчитывает купюры, откидывается на спинку кресла и смотрит мне в лицо, мучительно припоминая, — но, скорее, разыгрывая недоумение. Всё он знает и помнит, и эту осведомлённость я читаю в причудливо скроенных чёрных глазах, тугой нитке губ, словно прошитых изнутри хирургической стёжкой. Сбивают с толку бледно-пунцовые щёки,

которыми смерть, прежде чем засучить рукава, метит своих избранников. Он пожирает меня глазами как предмет страсти. Ему лет тридцать. Загнутый орлиный нос с широкими крыльями у основания выдаёт чувственность, которую выпестовали и принудили ступеваться. Череп как у муравьеда, залысина, вмятины от дужек очков на скуловых костях, — всё это фамильное серебро, давно не чищенное, соседствовавшее с дуэльными пистолетами, связками любовных писем, он выкладывает передо мной длинными и тонкими пальцами Паганини, не ставшего маэстро лишь в силу недоразумения. Я ловлю себя на мысли, что знаю этого человека. Но кто же он? И почему бы ему самому не выложить карты на стол?

Бухгалтер усмехается, точно слышит шорох моих мыслей. И по глазам, подёрнутым лазерево-жемчужной дымкой, я узнаю владельца зонта-трости.

— Простите, — говорю я, озадаченный внезапным открытием. — Думаете, у меня получится?

— А вы рискните, — говорит бухгалтер. Он смотрит на меня с любовью и нескрываемым обожанием, — так нумизмат, заполучив старинную монету, подолгу согревает её в кулаке. Меня смущает этот восторг. Выйдя из кабинета, я тут же забываю и типа с зонтом, и его двойника с черепом муравьеда. Я был так счастлив, что прямоком отправился в общежитие ВГИКа, завалился на диван и стал обшаривать ум в поисках сюжета для короткометражки. Воспоминания дефилировали на подиуме памяти в обновках, купленных на блошинных рынках прошлого, и только усач не желал покидать кулис. Я вытолкал лежебоку окриком. И мизантроп, застёгнутый на все пуговицы, попросил не церемониться с ним и задавать трёпку, как гимназисту, таскающему двойки. Я даже осёкся. А приглядевшись, узнал в обладателе пышных усов и волос, откинутых на затылок, Леопольда фон Захер-Мазоха — когда-то я написал о нём сценарий для Романа Виктюка. Почувствовав, что 90-е внесли сумятицу в умы, скроенные по советским лекалам, что общество расколото на «палачей» и «жертв», Виктюк искал и нашёл, как ему казалось, персонажа, способного указать на тектонический разлом в сердцах. И, оказавшись при деле, целый год я нахлебничал, эккерманствовал и увивался хвостиком за маэстро. Мне позволили не снимать шляпу в присутствии короля. А когда актёрам доставалось на орехи, я хватался за блокноты, чтобы то, что вертелось у неистового Романа на языке, угодило на кончик моего пера. Я стал *своим* в «круге Георге», и кто только не записывал меня в любовники стареющего Фавна. Виктюк отшучивался и говорил, что я не в его вкусе. И, чтобы закрыть тему, намеренно картинно пальпировал мою впалую грудь. Поставив диагноз «дистрофия», он ехидно улыбался уголками больших чувственных губ. А однажды, брутально схватив меня под локоть, втолкнул в еврейскую квартиру на Арбате. Препоручив «гоя» старику ребе, сбитою с толку незваным гостем, Виктюк уселся за праздничный стол, где мне было велено подкрепиться форшмаком. И сын Фарры, отец Измаила и Исаака, узнав, что я не обрезан и не способен отличить алахический мидраш от

агадического, рассмеялся, как только умеют смеяться сыны Израиля, столкнувшись с невежеством. Но, проинспектировав мой ум, он нашёл его не совсем потерянным для Торы и со всей душевной прямоотой принялся посвящать меня в тайны «Йециры», «Багиры» и «Збара».

Мы весело провели год в ожидании денег. Раз десять Виктюк приводил меня на Тверскую, где режиссёр жил в бывшей квартире сына Сталина, Василия. Первым делом он жаловался на домработницу, таскавшую кофе из кладовой. Мы шли на кухню, где Роман Григорьевич угощал меня польским борщом, в который следовало класть отдельно сваренный картофель и непременно из холодильника. Отобедав, мы отправлялись пить чай в гостиную. Здесь включался видеомангитофон, где на кассете витийствовал Глен Гульд.

...автокомментарий

Пианист восхищал, утомлял и раздражал. А своеобразная манера Гульда дирижировать свободной рукой, бормотать и подпевать там, где, как ему казалось, уместна вокальная партия, вызвала у меня приступ хохота. Виктюк же видел в своеволии исполнителя признаки гениальности и сокрушался, что отец музыканта отключил сына от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Ужимки пианиста Виктюк наматывал на ус. Репетируя, он то вскакивал с треножника, как пифия, впавшая в экстаз, то дирижировал и завывал, как великий канадец. Обладая решительностью Бонапарта, сердцем Казановы и умом Макиавелли, Виктюк напоминал горн, в котором плавилось золото и чеканились монеты с профилями королей, проституток и убийц. Он боготворил юность, и ставил на неоперившемся ещё артисте «горячую печать» из угроз и проклятий, мольбы и слёз. Этим «тавро» он клеймил психику, ревностно следя, чтобы раны не затягивались. Толстокожих Виктюк изгонял. Актёры для него были волками, которых следовало обкладывать красными флажками и направлять на засадный полк. Пленив зверя, он выкладывал *мясные обрезки* от одной мизансцены к другой. И рисунок, предложенный Виктюком, артист принимал как дар, если не был разборчив, и тяготился им, если обладал хотя бы крупницей тщеславия.

Как-то после репетиции Виктюк затащил меня в бутик, чтобы одобрить пиджак, который не решался купить из-за дороговизны. Пиджаки были его страстью. Их было больше трёхсот. И с безумными глазами он кружил по Пассажу, требуя от меня принять решение. Я сказал: «Берём»! Тут же Виктюк расплатился и так бойко стал выталкивать меня из магазина, что я даже подумал: а не стащил ли он какую-нибудь золотую запонку? При этом режиссёр ругал себя за растраты на украинском, польском и итальянском арго. А когда мы поднялись на лифте к двери его квартиры, он впервые не впустил меня, сказав, что денег на фильм достать не удалось, и что пиджак я могу оставить себе. Я отказался. И он захлопнул дверь перед моим носом. Иногда,

чтобы расстаться, ищут повод. Здесь повода не было. И мы распрощались так же просто, как и встретились — у квартиры сына Сталина Василия.

Рана, причинённая этим воспоминанием, бредила, не давая уснуть. А спустя месяц я снял копеечный этюд о Мазохе. Узнав, что сынишка виделся с незнакомцем, зачастившим к матери, отец пытается выудить имя повесы.

— Я умею развязывать языки, мой милый, — говорит отец. Застегнув китель полицмейстера на все пуговицы, он кружит над Северином, как коршун над бельчонком. — Дыба? Испанский сапог? Утопление?... С чего начнём?

Северин сам подходит к коврику с горсткой сухого гороха, вылущенного из стручков крепкими и заботливыми пальцами старухи служанки.

— Горошек, — смиренно шепчет мальчик и врезается в коврик острыми, как бритва, коленками.

...автокомментарий

Ребёнка бьют! За что? И почему Господь бездействует? Я слышал ропот толпы, упрёки и проклятия в адрес Создателя. И, чтобы отвести наветы от Бога, написал «Теодицею 1», где есть пассаж: «Если рассказать бесу о свободной воле, то зло, вероятно, выберет и сожжёт плевелы из своих семян. Почему я так наивен? Да потому, что голос совести звучит во всех уголках Вселенной, но прежде — в сердцах падших духов».

Я снял этюд об унижениях и оскорблениях, которые ранят, но и одаривают фантазией. Остались досъёмки и в паузе, чтобы вникнуть в детали быта «австрийского Тургенева», я углубился в архив Мазоха. Узнав, что романист склонял мать своих детей к супружеской измене, что грозился утопиться, если в ту же ночь не станет «рогоносцем», я призадумался: кто из двоих в большей степени жертва, а кто палач... А когда из мемуаров Ванды я вычитал, что любящая супруга, заламывая руки, шла, как на плаху, в «номера», где её тело, как глину с ракушками, в которых вызревал речной жемчуг, разминали цепкие пальцы приказчиков и кучеров, я почувствовал приступ дурноты... Меня мутило. Когда я вошёл в ванную комнату, пол и стены окрасились в цвета ярости, которая долго ждала случая, чтобы излиться... Тут из мрака соткался субъект с зонтом-тростью. Вперив в меня лазорево-жемчужные глаза, он подал стакан воды, а когда я с жадностью отхлебнул и утёр тыльной стороной ладони губы, прошёлся по комнате, переступая через стопки книг. При этом прогорклый корж его чёрного пальто окаймлял ломкий бисквит шарфа, чья тревожно-пронзительная белизна ностальгировала по временам, когда не было отпадания, и когда свет демона врачевал, а не опалял... Он выгреб из стопки книг видеокассету с «Мазохом», с укором покачал головой и сказал, что магнитная лента не терпит пыли и горячего кофе, если его пролить, будучи в подпитии.

— Но я не употребляю ни спиртного, ни кофе, — сказал я.

— И напрасно, — сказал он. — Алкоголь веселит, кофе бодрит.

Бес лукаво улыбнулся, сверкнув на прощание платиной коронок, и вышел через дверь, заперев её снаружи своим ключом. В тот же миг что-то произошло в дальнем космосе, какая-то сверхновая вспыхнула и озарила участок неба, иначе как объяснить, что, крепко сжав пальцами кассету, я ударил её о стену, придавил босой пяткой, а затем стал вытаскивать магнитную ленту и наматывать на локоть. Схватив кухонный нож, я кромсал ленту, тяжело дыша, и чувствуя, как пот застит глаза. Утром, отловив меня в столовой ВГИКа, декан S. сказал, что Кшиштоф Занусси, которому благоволит сам понтифик, выудил Мазоха из вороха VHS кассет и предлагает мне стажироваться у Анджея Вайды. Выходит, я уничтожил не всего «Кавалера розог»? И я немедленно отправился в Краков, чтобы найти концы и сунуть их в воду.

В киношколе преподавали иезуиты, культивируя бедность, послушание и целомудрие. Узнав, что я поклонник Станиславского, псы господни стали доказывать порочность русского театра, у которого «подрезаны крылья...» А разглядев в стажёре впалые от недоедания щёки, подробно и в красках живописали конфирмационный стол, который устал поджидать едоков. К концу третьей недели Польша высосала меня, как жадный младенец грудь. Возвращения в Россию я ждал, как еврей — манны. В Москве слёг с температурой, бредил трое суток, раскидавшись на влажных простынях. Всё это время призрак Мазоха сидел насупившись в углу комнаты.

— Ты охладел ко мне, — сказал он, когда я разлепил веки. — Считай, что я наказан. Так как насчёт этюда? Ты будешь переснимать?

— Нет.

— Почему?

— Ты замучил жену.

— Она изменяла мне с кучером...

— Брось! Ты подкладывал несчастную под мужчин, чтобы оскорбиться и сочинить новеллу к свежему номеру газеты...

— А ты таскаешь тень матери на допросы с пристрастием. И даже сейчас, когда я взываю к твоему здравомыслию, укоряешь её в жестокосердии.

— Ложь!

— Но ты пьёшь глотками, как целебный отвар, горе ребёнка, которого били скакалкой, шнуром от утюга и даже бухгалтерской отчётностью... Бедняжка, ты стал экспертом по части боли к десяти годам... И, знаешь, те семь шкур, которые с меня снимала тётка, цветочки по сравнению с тем, как тебя разделявали под орех...

— Не льсти мне...

— И не думал. Просто вспомнил, как ты хвастался своими талантами...

— Талантами?

— Ну да! Особенно умением, крепко сощурившись, отличать арию дамского ремешка, пропитанного потом, от речитатива увесистых кулаков соседа... Кажется, бездельник захаживал к разведёнке на огонёк? Уж не твой ли папаша?

— Замолчи! Слышишь ты, не человек! — я вскочил на кровати от сильного сердцебиения. Было тихо. Темно. Похоже, я разговаривал сам с собой...

Совість мучила за проклятия в адрес матери, которые порой вырывались из меня, как варево из-под крышки. Я жалел мать и в полубреду, который заставил меня сумерничать остаток ночи, бросался с кулаками на её замужних сестёр. Над сестрой Валентиной те посмеивались. И, чтобы утереть нос родне, она привезла меня к своей матери в село Гавриловское, что под Рязанью. Со станции Валентина несла подарки, купленные в Москве, а я тащился со скрипкой, — мать анонсировала концерт Ридинга, которым мне предстояло заткнуть за пояс двоюродных братьев и сестёр. Увидев десятилетнего внука, бабушка Анна всплеснула руками, мол, пострел, как две капли воды похож на деда, героически погибшего под Ржевом. Кто только не вращал вправо-влево мою остриженную голову, ища черты Кузина Степана Евстафьевича, отца десятерых детей, слывшего мужиком «хитрым» за лукавый прищур светло-серых глаз и умение прятать от колхозного начальства крохи по лесным заимкам. Вспомнив мужа, бабушка Анна утёрла кончиком платка слёзы и рассказала, как, схоронив, умершего от скарлатины пятилетнего сына Ванечку, который был красивым и смышлённым не по годам, дед так извёлся, исстрадался, что, забросив хозяйство, отправился «шатуном» в глухой Сасовский лес. Две недели он выплакивал горе, а вернулся заросший и ободранный, когда священник соседнего села уже назначил день отпевания. А тут Война. Забрали кормильца. В одну руку вещмешок с самосадом, в другую — сапоги, что берег на выход, а через плечо — скрутку... Весь вечер мы горевали о покойниках, а утром, проснувшись от запаха блинов, которые ещё до зари напекла бабушка, потягиваясь, я вышел на крыльцо. Мать вскапывала огород. А когда петух-задира взлетел ей на плечо и клюнул в темя, я выдрал из поленицы чурку и угостил ею драчуна. Мне было жаль убитую птицу. А когда я подошёл с лопатой, чтобы отнести петуха в лес и похоронить с почестями, притворщик «воскрес». Я так разозлился на беглеца, что в отместку отловил и забросил на крышу избы-пятистенки всех его кур.

Слухи о битве горожанина с петухом-забиякой произвели впечатление, и вскоре я стал «своим» у деревенских мальчишек. Вечерами мы прибивались к стаду, которое пастух Егорка перегонял с выгона на водопой. Кучерявый, в ватнике поверх выпростанной из брюк рубахи, в холщовой кепке, натянутой на брови, весёлый и шумный, Егорка слыл деревенским дурачком. Я так наловчился управляться кнутовищем, которое он мне доверил, что немедленно

приложился к нашему дворовому псу Шарику. Тот взвизгнул, попятился и долго ещё с укором смотрел мне в лицо. Затем я едва не утопил в речке «Иж» с коляской моего дяди Вити, участкового милиционера. Жил он с бездетной женой Анной в райцентре Сасово. Но, узнав, что приехал племянник, прикатил по ухабам на мотоцикле, чтобы научить меня смахивать из двустолки «куропатов», — так он называл водочные бутылки, насаженные на жерди. Зачехляя ружьё, он вдруг всплакнул об отце, моём деде, возвращавшимся с полевых работ с нетронутым обедом, который ему оврагами доставлял дядя Витя, будучи подростком. Со слов деда, молоко и хлеб ему из леса принесла лисичка, чтобы передал детворе. Я тоже принялся подвывать, умилённый щедростью деда, и тогда милиционер, забыв, что я едва не утопил его служебный «ИЖ», вновь доверил мне управлять мотоциклом.

Казалось, счастью не будет конца. Но наступил дождливый август. И накануне отъезда во Львов я расчехлил скрипочку-четвертинку, чтобы «дать» концерт Ридинга. Все деревенские старухи утирали слёзы кончиками платков и совали в карманы моих шорт свои похоронные червонцы. А затем, отужинав, бабушка Анна с мамиными сёстрами и их мужьями проводили нас до станции с трёхлитровой банкой лугового мёда и куском розового сала, завернутого в газету. Тех счастливых дней, проведённых в славном Граде Китеже, мне хватило, чтобы понять: сиротство моё устроил германец, умыкнувший у матери отца, а у меня — деда Степана. Болезнь, уложившая меня в постель, извлекла из памяти эти воспоминания, которыми, как я понял позже, и мать, и я оправдывали свою нерасторопную любовь.

К утру я пришёл в сознание. Но ещё неделю глотал горстями таблетки, пил бульон и дышал отварным картофелем, чтобы разжигить мокроту в лёгких. Выздоровев, я вернулся к прежним привычкам: строил песчаные замки одной рукой и разрушал — другой. Мазох не являлся. И я пришёл к мысли, что все дети ангелы. Повзрослев, они становятся «ужасными родителями», чьи сыновья не упустят случая попить крови у матери своих детей. Я хотел высказаться. Искал ребёнка, который способен вогнать в ступор взрослых, и остановился на сыне таможенника из Линца.

...автокомментарий

Я и Гитлер — бастарды. Это обстоятельство заставило меня глубоко копнуть. А, проникнув во внутренний мир тирана, испытывавшего, как и я, комплекс неполноценности, с удивлением я узнал, что и отец Адди был незаконнорождённым. Мать Клара Пёльцль, племянница будущего мужа и дочь его единокровной сестры Иоганны Клары Пёльцль, внучка Иоганна Непомука Гюттлера (1860-1907), была необразованной крестьянской девушкой — добродушной, весёлой, готовой сутки напролёт баловать сына, в то время как следовало бы возвращать в нём строгость суждений, дисциплину чувств и самоконтроль. Работая прислугой в доме дяди Алоиса Иоганна Шикльгрубера (нем. Alois Johann Schicklgruber), став, по сути, его содержанкой, девушка забеременела. Это событие произошло после двух браков и целого шлейфа внебрачных связей, которые тянулись за таможенником Алоизом Шикльгрубером. Чтобы вступить в брак с родственницей (2-3 уровня), в чём ему отказало католическое епископство Линца, Алоису пришлось обивать

пороги Рима. И 7 января 1885 г. «молодые» поженились, — невесте было 24, а вдовцу — 47 лет.

Алоис, носивший до 1876 года фамилию своей матери Марии Анны Шикльгрубер (нем. Schicklgruber), значительно позднее сменил её на фамилию Гитлер. Почему? Алоис Шикльгрубер родился 7 июня 1837 года в деревушке Штронес под Дёллерсхаймом у 42-летней незамужней крестьянки Марии Анны Шикльгрубер. Подчеркну — ребёнок был незаконнорожденным и получил фамилию своей матери, так как в церковной книге, куда заносили факт крещения младенца, графа, отводившаяся под имя отца, пустовала. Здесь стояла пометка illegitim (нем. «незаконнорождённый») или außerehelich (нем. «внебрачный»).

Когда Алоису исполнилось 5 лет, Мария Анна Шикльгрубер вышла замуж за подмастерья мельника Иоганна Георга Гидлера. Зарегистрировав брак, супруги не решились поменять фамилию и статус ребёнка. Вот, где собака зарыта! Никогда Гидлер не признавал Алоиса сыном. Большинство биографов выдвигают на роль отца Алоиса одного из братьев: Иоганна Непомука Гюттлера или Иоганна Георга Гидлера. Таким образом, и у отца, и у сына была подмочена репутация. Их объединило проклятие, которому сословное общество предавало, как внебрачных, незаконнорожденных младенцев, так и тех отпрысков, кто появился на свет в результате близкородственных связей (инцеста).

Это позорное пятно вынуждало диктатора сбегать в подвалы своей души чаще прочих смертных, чтобы, перелистывая пожелтевшую подшивку кривотолков, вырывать страницу за страницей. Став канцлером, Гитлер лично остригал «сухие» ветки родословного древа. Отношения с отцом окончательно испортились. По свидетельству биографа Гитлера Вернера Мазера, потеряв отца в тринадцатилетнем возрасте, «Адольф рыдал над его гробом»².

Были эти слёзы выражением скорби, или радость избавления от тирана иссушила слёзные железы мальчика — остаётся гадать. Гитлер интересовал меня, но меньше всего я брал в расчёт психоанализ, в котором его деструктивность рассматривалась под углом Эдипова комплекса. Я решил исследовать обструкцию маргиналов, и драмой леворуких детей положить конец спекуляциям о природе зла. Я взял под защиту гены, чьи поломки, якобы, приводят к жестокосердию. Мой фильм не снимал вины с диктатора, но и не позволял либералам сверкнуть пятками. К тому же я сторонился проторенных путей и автобану Фрица Дица, брусчатке Кукрыниксов предпочёл узкоколейку с грохочущими экспрессами, от колёс которых, в кухонном шкафу Клары Гитлер будет отплясывать столовое серебро. Был и путь Чаплина. Но я отклонил его, посчитав смех медвежьей услугой тирану.

...автокомментарий

«Великий диктатор» (англ. The Great Dictator) был снят в 1940-м, когда США ещё находились в состоянии мира с Третьим Рейхом, и был неоднозначно принят американской публикой. Но идея превратить Гитлера в клоуна, впервые пришедшая в голову Чаплину, открыла «окно Овертона». Последним фильмом, в котором бес выставлен на посмешище, стал «Молох» Александра Сокурова. Характер Гитлера в передаче Леонида Мозгового так и не был нераскрыт. Актёр остался в плену манеры Фрица Дица. Не найден стержень, не показана стальная игла, на которую нанизана persona, — то, что выдаёт в Гитлере тектонический сдвиг эпохи. Сведя сюжет к пинкам, которыми любовница одаривала

«папочку», Сокуров счастливо избежал погружения в реалии, где зло не столь экстравагантно, а притворство и безыскусность идут рука об руку.

А что, если не клеймить зло, а выслушать? Что, если чёрта уложить на кушетку, — не так ли поступили Фрейд, Юнг, Адлер и Карен Хорни? Разве, выпустив пар, Люцифер не выложит карты на стол? Тема вызревала. И в моём наскоке, когда, схватив огрызок карандаша, я набросал беглый портрет 90-х, было куда больше живого чувства, чем в иных холстах в золочёной раме.

Но не грош ли цена Богу, который не смог или не пожелал повернуть зло вспять?

...автокомментарий

Короткометражкой я и решил отвести навет от Создателя. Пусть все узнают о первокласснике, готическим почерком, записывающим стих Гёте. Мальчик покладист. Но грубость отца, слабость матери, тупость школьного учителя, требующего переучить левшу, убивают личность ребёнка. В душе, данной Богом без изъяна, появляется червоточина. И метаморфоз этот предстояло запечатлеть.

Я всё ещё привержен теологии на немецкий манер. Иногда я угощаю рассудок розгами трёх кантовских критик. И тогда немец во мне шаркает ночными тапочками в поисках холодильника с баварскими колбасками и банкой охлаждённого пива. Я растягиваюсь в кресле перед камельком, чтобы рассуждать über den Herrn Gott und Luzifer. А, прикорнув, вижу сон, где чопорный Кант кладёт Бога на зуб, как орешек, чьё ядрышко, скрытое под скорлупой/лузгой/жмыхом, старик намеренно щадит, предвкушая трепет богопознания. Но наваждение гонит в шею Молитва Иисусова. И вновь Господь являет мне Благуя Весть в синодальном переводе. Ведь я сочинил притчу о воздаянии, в которой, натерпевшись, ребёнок раздает оплеухи направо/налево. И этот «праведный» суд над отцами, эту титаномахию, я и воспроизвёл в короткометражке о детстве Гитлера.

Картину ждали. Но появление огольца удивило даже прожжённых критиков. Мысль, что и у чудовищ есть детство, сражала наповал. Конечно, счастливое взросление со слегка подгоревшими коржами, райком из папье-маше, распятием из красного дерева и масленичными гуляниями в пёстрых карнавальных костюмах, не заставит зрителя всплакнуть. Но чем убедительнее Адди страдал от кожаной краги, с помощью которой таможенник Алоиз приторочил к бедру сына его левую руку, тем сложнее публике было демонизировать Гитлера. Злодей очеловечивался! Напасть лишь вострила коготки...

...автокомментарий

Я построил драматургию «Der Linkshänder» на преследовании леворуких детей. Сведениями меня снабдил приятель-левша, чьи родители заставляли мальчика всё делать правой рукой. В результате школьник, который в жизни и мухи не обидел, превратился в мизантропа: дерзил, курил, мучил животных. Угрозы и насилие, применявшиеся в

отношении левшей в СССР, служили причинами детских страхов, ночного энуреза, заикания и эпилепсии. Поняв, что зло конвенционально, что мучители, терзающие малюток, полны благих намерений, я дал пример переучивания, заменив советского школьника юным австрийцем.

Если в начале фильма, сжимая в левой руке карандаш, первоклассник выводит шрифтом Зюттерлина (немецкий готический курсив) «Адольф Шикльгрубер», то в финале, пальцами правой руки, закованной в гипс, он ставит закорючку: «Адольф Гитлер». До этого Адди разнёс в щепки кабинет отца и упал на обломки, в которых смутно угадывались будущие руины городов. Отец тиран, мать рабыня, учитель социопат — какая питательная среда для рождения монстра.

Но прежде, чем взять в руки киноаппарат, я снял фильм на «бумаге». Раскадровка обещала успех. Оставалось найти деньги. И с протянутой рукой я отправился к декану операторского факультета, — часто, чтобы спасти от исключения бездельников, режиссёрам позволяли подтягивать им «хвосты». Меня познакомили с кандидатом на вылет. Этюды, которые студент задолжал, я предложил соединить в фильм о детстве Гитлера. Но Люцифер, обвинив меня в «гуманизме», наотрез отказался ложиться на кушетку.

— Что за причуды? — держа руки в карманах брюк, он двигался по узкой, как пенал, комнатке приставным шагом. — И потом, с чего ты решил, что, выудив из меня желание, убить отца, переспать с матерью, я исправлюсь?

— Но ты же зачем-то подбросил мне Мазоха, — сказал я. — Ребёнок, которого быют. Ведь это же ты?! Признайся!

— Ты хуже, чем я! — Люцифер вышел из комнаты и хлопнул дверью. А, не зная, как вернуть моё расположение, как влюбить в себя, стал мелко пакостить. И вскоре ВГИК отказал мне в авторских правах, а оператор, не вылетевший из института благодаря мне, раструбил о замысле «Левши», который осенил не мою, а его голову... Так я влез в кабалу. Но другого шанса состояться не было. И, скрепя сердце, я приковал себя к чужой галере, на чьи вёсла мне предстояло налечь. Медяками, выделенными оператору от Министерства культуры, можно было выложить инсталляцию, но только не залатать бюджет. Чтобы арендовать арабского скакуна, я пустил с молотка библиотеку. Я клялся назвать позорным тот день, когда продам хотя бы одну книгу, но скорость, с какой я набивал баулы, проворство, с каким я нырял в подземку, чтобы попасть в цепкие руки перекупщиков на Новом Арбате, удивила меня самого.

Бес лютовал. А за день до съёмок подослал контролёров в трамвай, чтобы высадить меня за «просроченный» билет. Мы тащили баулы к пункту полиции. И каким-то нервическим хохотом я сопровождал угрозы кондукторов выдворить меня из Москвы.

— Чего ржёте? — спросил меня здоровяк, он был в шортах, шлёпках на босу ногу и в майке с трафаретом Сталлоне.

— Не высыпаюсь, — признался я и добавил: — Но вот, кто бодр и готов поболтать, так это мой кошелек...

Но прежде, чем я окончил мысль, пальцы с тюремными наколками на запястьях выгребли из кошелька всю наличность.

— А там что? — указал на баулы второй, в кительке и круглых очочках, как у Джона Леннона.

— Так... Скукотень, — я скривил рот в брезгливой гримасе, словно речь касалась просрочки, подобранной у выхода из мясной лавки.

— Берём! — решительно и почти в унисон сказали оба. Мне вернули билет. И, взяв по баулу, контролёры юркнули в метро.

Я даже всплеснул руками от неожиданности. Затем, повернувшись лицом к Храму Тихвинской Иконы Божией Матери, что в пятистах метрах от Проспекта мира, я осенил себя троеперстием. Ведь без билета, позволявшего входить во ВГИК, нельзя было приступить к съёмкам. Декорация «Левши» располагалась в учебном корпусе. Часто, чтобы удешевить производство, режиссёры снимали не в павильонах, где их обдирали как липку, а в аудиториях. Бес придумал, как вернуть меня на студию, где из подкладки моего пиджака вытрясут похоронные рубли. И, чтобы сорвать съёмки и при этом остаться в тени, бес облачился в робу монтировщика. Опясавшись ремнём, с которого гроздьями свисали плоскогубцы, он шёл жаловаться ректору на студента М., затягивавшего возвращение фундуса на студию. Четвёртый год бездельник поднимал тосты за счастливое поступление во ВГИК, а, сняв безделицу, не торопился разбирать декорацию. Бес даже оторопел от неожиданности, поравнявшись с беззаботным малым.

— Когда вернёте фундус? — грозно спросил Люцифер.

— Когда закончу, — соврал баловень судьбы и подумал, что, прежде чем сдать фундус на склад, следует «обмыть» победу. Эта крамола так ранила сердце падшего духа, что, побледнев, ощутив боль в груди и спазм в дыхательных мышцах, он присел на стульчик. Он был так жалок, что сердобольная сценаристка Г., увидев обмякшего монтажника, опустившего голову и руки, принесла ему из автомата банку газировки.

— Пейте, товарищ... Только мелкими глотками...

Бес выпил. И решил взять паузу. Этой паузой я и воспользовался. Артель из художниц, которую я сколотил, за ночь превратила коробку с двумя оконными рамами и двухстворчатой дверью в австрийский кабинет, где строгость стиля Biedermaier подчёркивали точность деталей и отсутствие излишеств.

...автокомментарий

Устав от «наполеоновских войн», Европа согревалась у камельков. Название стиля образовано каламбуром: Biedermann — простак, деревенщина, наивный чудака, и фамилии Maier. Падение Бонапарта привело к расставанию с романтическими иллюзиями. В моду входила мещанская мораль, где героизм вытеснила пресловутая польза.

Дух «вырождения», провозглашённый Ницше, Шпенглером и Нордау, и должен был поселиться в кабинете Алоиза, отца Адольфа. А вскоре декорация стала объектом паломничества. Всех интересовало — как снять фильм, не имея за душой ни гроша. С ватагой кинооператоров явился и Вадим Юсов. Окинув взглядом «кабинет», он посоветовал обтянуть тюлем портрет Франца Иосифа, чтобы не бликовал. Так и поступили. И действительно, фотография со спичечный коробок, увеличенная до размера парадного портрета, смотрится на экране как картина, написанная маслом.

Узнав о смотринах, проректор Р. пригрозил «закрыть лавочку», если декорацию не перенесут в четвёртый коммерческий павильон. Я наотрез отказался. И обладатель трёх подбородков, подпиравших грушеобразную голову, которую венчало свежестриженное руно, стал срывать съёмку за съёмкой. Причины высасывались из пальца. От меня требовали «безопасных съёмок», а когда, перебросив деревянные мостки через силовой кабель, я спасал будущих звёзд кино от удара током, аудиторию набивали пожарные из опасения, что я подожгу институт. А однажды, вломившись в разгар репетиции, рабочие вытащили стул из-под Киндинова, игравшего отца Гитлера.

— Знаете, что это? — я поднял с пола заострённый стальной прут.

— Арматура, — буркнул рабочий со спичкой между зубов.

— Нет, — сказал я. — Это улика. Убивать глупо. Но ещё глупее оставлять улики. Я не оставляю. Сказав это, я направил стальной прут на троих монтировщиков. И тут Евгений Киндинов, закипев, ударил кулаком по столу.

— Да я вас сам, вот этими руками...

А когда, опешив, я опустил прут, рабочих, как ветром сдуло. Бес, стоявший в глубине декорации, сказал, что стол студийный, что сломать его раз плюнуть. А, проходя мимо меня, с опаской посмотрел на заострённый конец арматуры и сказал, как бы извиняясь за горячность коллег:

— Работа у ребят нервная. Колоти. Разбирай. Колоти. Разбирай...

Он решил сменить тактику. И тем же вечером комендантша велела «сматывать удочки». Мне был дан час, чтобы набить камеру хранения пожитками и окунуться в промозглую ночь. За порогом общежития меня встретил снегопад и пьяные окрики полуночников. Пройдя метров сто сквозь метель, продрогнув до нитки, я подумал, что ночевать под декабрьским небом не лучшая идея. На войну, объявленную ВГИКом, я не явился. Но и покойником, пришедшим к гробовщику, чтобы опрокинуть стаканчик, не

торопился стать. Жестокая пороша превратила меня из стойка в софиста. Я стал обзванивать москвичей, но меня не хотели или не считали возможным приютить. Пропетляв дворами, я вновь очутился у общежития. Идти было некуда. А что, если вернуться на свой двустворчатый диван? Разве, будучи абитуриентом, я не излазал все коллекторы, воздуховоды и пожарные лестницы?.. Я мог состязаться в живучести с крысой, в ярости — с диким псом. И хотя предусмотрительная комендантша и законопатила лазейки, протиснуться в них не составит труда. Всего-то и требуется, что взобраться на четвёртый этаж по хлипкой решётке. Правда ладони будут изрезаны о колючую проволоку, одежда пропитается мазутом, да и прежде, чем проникнуть на пожарную лестницу, предстоит выбить замок со стальной двери. Но выбора не было. И, нащупав «похоронные» рубли, зашитые под подкладку пиджака, я вскарабкался на обледенелый портик первого этажа. Было холодно, зябко и страшно. Первые два пролёта я почти промахнул. На третьем изорвал осеннюю куртку о колючую проволоку. А, добравшись до четвёртого, когда до балконных перил оставалось рукой подать, стал раскачиваться вверх-вниз на играющих стальных прутьях. Здесь решётка была не закреплена, и, быстро оценив опасность, я вернулся на два метра вниз, чтобы передохнуть и найти решение. Пальцы обледенели. Всякий раз, отрывая их от заиндевевшей стали, я чувствовал, как кожа трещит, а нервные волокна, ощутив дрожь в сухожилиях, торопятся передать мозгу неутешительный прогноз. Но свежая кровь вдруг снабдила мышцы кислородом. Причины оживления я не знал, и даже, грешным делом, подумал, что так агония, отстранив решительным жестом слабеющую волю, заявляет права на последний шанс. И я решил дерзнуть. Поднявшись из последних сил на пролёт, я завис на «качелях», где бытие и небытие стали играть со мной в «кошки-мышки». И тут случилось событие, которому я обязан не в меньшей степени, чем матери, изгнавшей меня из утробы. Тут я увидел телевизионный кабель, притороченный к бетонной стене. Качнув решётку, я дождался, когда маятник приблизит меня к кабелю и ухватился за него. Крепёж сидел прочно. И, держась правой рукой за кабель, а левой — за решётку, я поднялся на пролёт и перевалил через балконные перила. Я лежал на обледенелом полу, согревая частым дыханием изрезанные в кровь пальцы. Затем поднялся с колен и вытолкнул плечом стальную дверь. Вход на этаж преграждала деревянная створка, со вставленными стеклянными панелями. И я вышиб стекло кулаком, предварительно обмотав его шарфом.

По пожарной лестнице я добрался до десятого этажа. Здесь жили иностранцы. Я поскрёбся. Заспанный сириец выслушал меня и жестом царя Хаммурапи указал на линолеум — между ванной и туалетом. Чтобы застудить почки хватило бы и трёх ночей. В шесть утра вавилонянин тормозил меня, чтобы всучить авоську с варёными яйцами, иракской лепёшкой и пакетом безлактозного молока. Молчанку мы не оскверняли — ни словом, ни взглядом, ни жестом. Я принимал дары, склонившись и положив руку на сердце. А, наскоро позавтракав, подходил к хозяину, чтобы отблагодарить. К концу

трапезы он обычно стоял в ванной комнате перед зеркалом. Достав из кожаного футляра опасную бритву, иностранец соскребал мыльную пену со щёк и подбородка. Он знал, что прежде, чем спуститься по решётке, отрывая с болью израненные пальцы от заиндевевшей стали, я отвешу поклон. И по тому, как застывала в танце его вальсирующая бритва, я понимал, что извинения за беспокойство приняты, и что с меня довольно и лучика света, который вспорет и разрежет надвое мои полуслипшиеся ресницы.

...автокомментарий

По ночам ОМОН устраивал облавы на нелегалов. Студентов без регистрации отвозили в лесополосу. Там нам втолковывали, как американские рейнджеры поступают с мексиканцами, незаконно пересёкшими пустыню Сонора. Уроки были платными. Но когда абонемент стал превышать прожиточный минимум, до меня дошло, что на дворе зима, что я клошар, и что даже тёплой одеждой, борясь за фильм, не удосужился обзавестись.

Чтобы не околеть на морозе, я устроился корреспондентом «Первого». Днём я снимал репортажи, а ночью облюбовывал кабинеты руководителей. Чёрт терпел. Но когда, угнездившись в кресле директора, я положил ноги на стол, уставленный статуэтками, бес внушил начальнику вскочить посреди ночи, сесть за руль, и лично зачитать мне правила корпоративной этики. Перечислив пункты, которые я нарушил, он так воспылал праведным гневом, что на мой вопрос о гонораре, вынул из кошелька деньги, швырнул мне в лицо и велел забыть дорогу на телеканал. И зря! Ведь, предвидя короткий медовый месяц, я набрал стопку разовых пропусков и целых две недели с того изгнания исправно приходил на «ночной эфир». Первую ночь мне не пришлось сомкнуть глаз. Отовсюду, где я пытался прикорнуть, медя сгоняли охранники, а из единственного подвала, который не был заперт, вежливо удалил рабочий. Телецентр оказался негостеприимным донжоном, где алчность набивала карманы, а высокомерие смеялось в лицо простодушию. Промыкавшись полночи, я упёрся лбом в остеклённое фойе концертной студии, чтобы вонзить в Москву дюжину своих ножей. Под парадной лестницей я обнаружил уголок уборщицы, — швабры и битые стулья, пропахшие кошачьей мочой... Тут случился пассаж, которому я был свидетель, хотя, по логике вещей, должен был стать его подлинной причиной, — иногда для красного словца философы употребляют связку каузация/казуация, не удостаивая публику разъяснениями... И я не стану углубляться в значение происшествия. Скажу только, что, когда нечто случилось, вся моя анатомия содрогнулась от идеи, которая овладела мышцами. Мышцы знали, что делать, и ещё до того, как ум посмел возразить, сложили моё тело под лестничным маршем, как перочинный нож.

Первую ночь я глотал чьи-то слёзы, брался в свидетели, «видел», как одни избегают, а другие скатываются по карьерным ступеням. Две недели я снимал «Левшу», отсыпаясь в кошачьем логове. Но Люцифер, не разделяя моего пацифизма, только и думал, как бы выдворить меня на мороз. Не сумев заинтересовать охранников горой ломаных стульев, он вытолкал из душной

аппаратной диву в красных, облежавших икры, сапожках. Подойдя к стене из стекла, чтобы поправить локон, курильщица разглядела в отражении субстанцию, которая сопела, колыхалась и топорщилась из-под лестничного марша. Это внезапное открытие так огорошило особу, что, обернувшись, она сделала второе, не менее ужасное открытие. Дива вдруг отчётливо поняла, что под лестницей билось сердце, и что спёртый воздух кошачьего логова, тяжело взбираясь к вентиляционной отдушине, должно быть, колышет уже окостеневший труп... Но я не был трупом. Напротив, забывшись мертвецким сном, я убежал от невесты, и даже протиснулся в слуховое окошко дачи, которую приступом брала брачующаяся особа. И в этот опереточный сон ворвался визг дивы. Но, если бы только сирена извлекла меня из забытья. В самой грёзе диве вторили октавой ниже родственники невесты. Я вдруг очутился в эпицентре диссонанса. А когда две звуковые волны, поладив, ударили в мои барабанные перепонки, я так резко вскочил, что едва не снёс затылком четвёртую по счёту ступеньку. Только я собрался ретироваться, как натруженная пятерня отца невесты схватила меня за полы куртки и потащила обратно в сон. Я стал вырываться. Но был раздавлен огнедышащим бюстом мамы, — хруст моих рёбер был так оглушителен, что, придя в себя, я схватил одежду, метнулся к уборной и заперся на тугой шпингалет. Ничего подобного прежде со мной не случалось. Я вострил лыжи, сматывал удочки, задавал стрелкача, но ни разу не уносил ноги от двух погонь сразу. А, взобравшись с ботинками на унитаз, целый час с тревогой я ждал, когда досужий полицейский заглянет под филёнчатую переборку. На часах было без одной минуты четыре. И, вяло козырнув охраннику у вертушки центрального выхода, остаток ночи я рассовывал пропуска по мусорным бакам. Было что-то мистическое в том, как я сжигал мосты, как заглядывал в урну, слегка припорошенную снежком. «Вот я у края мира», — подумал я. — «Вот урна. Вот прах. И только у меня нет ни урны, ни праха, ни горстки бесхозных атомов».

Я шёл против ветра. А когда, соскребя озябшими пальцами ледяную корку с лица, обнаружил себя в коридоре ВГИКа, дыхание перехватило. Как я не заметил, что настало утро? Я нездоров. Я попал в шторм. Меня прибило к берегу. Итака! Моя Итака! Где же кормилица? Милая, родная моя нянюшка! Выйди! Встреть меня! Омой бродяге ноги, чтобы узнать мужа Пенелопы по рубцу на щиколотке. Пришёл час, голубка, натянуть мой тугой лук и прижучить женихов... Так я пикировался с призраками прошлого, скитаясь по учебной студии. Я знал, что в кабинетах живут, — днём притворщицы подбивали баланс, а в сумерках, запершись, вынимали из служебных шкафов матрасы и кухонную утварь. Неприкаянных директрис я жалел. Но если им позволено мыкаться, почему мне не потребовать того же? Из книг я знал, что в Средние века беглецы спасались в храмах и на кладбищах, и что священное право убежища не позволяло барону выкурить колдуна из свежевырытой могилы.

...автокомментарий

Я знал несчастных в лицо: эту вытолкал из квартиры сын; та стала жертвой аферы. Мы были горошинами, вылущенными из стручка, с той лишь разницей, что «погорельцам» попустительствовало начальство, а мои претензии на кров были незаконны.

Я вышел из ВГИКа в 22:05. Декабрьская ночь подкараулила морозцем, которым, лишившись кошачьего одеяла, я укроюсь, чтобы упокоиться к утру. Но разве Господь, видя, как барахтается незадачливый пловец в водах Леты, не протянет руки? И я вернулся в институт, где по щекам меня отхлестали тепло, уют и задорный смех москвичей... Так будьте же прокляты вы, тёплые страны, где свивают гнёзда и выводят птенцов! И пусть владельцы апартаментов, квартир, дач, хлебнут лиха и посыплют головы пеплом! Я проклинал, но беззвучно, в уме, а когда выдохся, когда убедился, что вопль мой безответен, остановился, как вкопанный... Меня стащили на ступеньку... Но я дерзко выпростался, как кисть руки из-под тугой перчатки... Я торчал вбитым гвоздём у бюро пропусков, пытаюсь понять — что делать, куда податься?... Затем *что-то* решило за меня этот вопрос, и это «что-то» ухватило меня и развернуло лицом к толпе... Как ледокол, ломающий торосы льда, я вклинился в людской поток... И вот я у гардероба.

— Забыл что? — интересуются.

— Да...да... рукавицы... такие, знаете ли, — я обвёл взглядом гардеробщицу, холл, уже опустевший, и бросился к парадной лестнице. Я взбежал на второй этаж, шёл часто и тяжело дыша, нанизывал коридор за коридором на цыганскую иглу, в которую превратилась моя кочевница-мысль...Я пришиливал себя ко ВГИКу, — так золотошвейка, отложив работы, с любовью и усердием водружала золотую пуговицу на вицмундир. «Ах, как прочно сидит...Не оторвать...И сколько с меня причитается, голубушка?»

— На выход, молодёжь! — тронул меня за плечо пожилой охранник и выдрал с мясом золотую пуговицу.

— А который час?

— Двадцать три сорок пять, — охранник насупился. — Самое время на горшок и баиньки.

Я спустился с третьего этажа на второй... А что, если разбить бивак здесь, посреди ВГИКа, и пусть меня арестуют и депортируют? Решено! Буду коротать «египетские ночи» под носом у ректора... Я так воодушевился тем, что помыслил эту мысль, что не заметил, как идея обросла решимостью, и настала минута, когда я почувствовал — Рубикон пройден! Тут ноги, прежде исправно таскавшие атмосферный столб, сами поволокли мешок с костями к аудитории № 218-ть. Я запротестовал! Но уговоры на ноги не подействовали. Затем и правая рука-суффражистка извлекла из кармана брюк дубликат ключа и отперла дверь. Тело моё протиснулось в щель и потянуло дверь на себя. Почему *тварь* ослушалась *творца*, а левая рука-сепаратистка зажгла свет? Я

требовал отчёта. Но плоть подхихикнула, мол, глупости, да и только... И прежде, чем ток растормошил полусонные лампы, ум-либертарианец приказал обмякшим мышцам метнуть вязанку сухожилий ко второй, «театральной» двери, через которую во время экзамена по актёрскому мастерству на сцену вваливался Ермолай Лопухин, или призрак отца Гамлета, услышав петуха, отправлялся восвояси, — створки её, в отличие от «парадной», запирались изнутри. Я отворил стальной засов запасной двери, юркнул в коридор, прикрыл створку и направился к деканату. Заложив руки за спину, я «изучал» расписание занятий. А, выждав, когда коридор обезлюдит, метнулся к «театральной» двери, вошёл и заперся изнутри. Так вот какую змею пригрел ВГИК на своей груди! Я ужаснулся и восхитился собственному коварству, но больше даже изобретательности, которую, я надеялся, никто не поставит под сомнение. Тут силы покинули меня. А, нащупав в темноте мат с наваленными поверх кабелями и световыми приборами, я сполз по слоистому и тугому воздуху полузабытья на это императорское ложе. Я вскочил только в семь утра, когда уборщица стала греметь ведрами.

Жизнь наладилась. Днём я снимал, а ближе к ночи, запершись, опрокидывал в себя стакан кипятка. Но следовало торопиться, ведь ключ от аудитории оттопыривал ни один карман. И за несколько месяцев, прожитых нелегалом, я изучил график визитёров. Никто не догадывался о моём подполье, о том, что я кукую в каменной нише на высоте двух метров от пола. «Гробик» мой нависал над пеналами с реквизитом. Я снабдил логово электропечью, но предпочёл мёрзнуть, лишь бы счётчик не наворачивал километраж. Исключение я сделал для лампочки в 60v, чтобы раниться об острые шипы красных засохших роз, лепестки которых ворошил на каминной полке дух умершего ребёнка. Чтение умиротворяло. И ближе к утру, сунув томик Маркеса под матрац, я впадал в полузабытье.

Как шпион, клеящий усы, целых два месяца я зубрил легенду, чтобы отскакивала от зубов. Я мимикрировал, принимал форму, цвет и запах вещей, и с лёгкостью бесплотного духа перешагивал границы рая и ада, мира дольного и мира горнего. Ничто называло меня молочным братом, — так искусно я заметал следы. А однажды, воскресным утром, когда я ещё дремал, в декорацию ватагой ввалились японцы и стали репетировать этюды.

...автокомментарий

В тот день, когда иностранцы осваивали азы системы Станиславского, мне вспомнился, прочитанный в юности роман Кобе Абэ (1924—1993) «Человек ящик» (яп. 安部公房 『箱男』 1973 год). Метаморфоза, которую испытал японский бездомный, была схожа с моим опусканием на «дно». Позже, перечитывая роман, я удивлялся совпадению своего мироощущения с тем, что чувствовал персонаж Кобо Абэ... Вот краткий пересказ романа, точно передающий его психологическую канву: «Человек-ящик, сидя в своём ящике, приступает к запискам о человеке-ящике. Он подробно описывает, какой ящик пригоден для человека-ящика, как его нужно оборудовать, чтобы в нем было удобно находиться в любую погоду, какие вещи необходимы человеку-ящику. Наиболее пригоден ящик из

гофрированного картона. В ящике следует вырезать окошко и повесить его полиэтиленовой шторкой, разрезанной пополам: коротким движением головы вправо или влево края шторки чуть раздвигаются, и можно увидеть все, что делается вокруг. В момент, когда человек влезает в картонный ящик и выходит на улицу, исчезают и ящик, и человек, и появляется совершенно новое существо — человек-ящик»³.

Японцы спорили о кино, чаёвничали, а я лежал в «гробике», боясь пошевелиться. Спустя час мышцы отекали, и опасения, что кровоток не восстановится, вызвали приступ удушья. Я запаниковал. А, почувствовав дурноту, стал ковырять бедро перочинным ножом, чтобы не потерять сознание. пытка длилась пять часов. Когда же самураи ретировались, я спустился по фундусу и обработал рану на бедре перекисью водорода. Но охранники могли явиться. И, подчистив следы, я забился в «гробик» до утра понедельника.

А в понедельник тех студентов, кто не продлил билет, разворачивали у бюро пропусков. Весь день я разыскивал художницу, клеившую обои в кабинете Алоиза. Мы встретились случайно, в «стекляшке», — так назывался перешеек, переброшенный по воздуху между институтом и учебной студией. И через два часа я стал обладателем самой свежей печати ВГИКа, выполненной колонковой кистью, которую сжимали твёрдые пальцы будущего мастера, наделённого талантом, острым взглядом и горячим сердцем. Даже охранников убедила эта «реплика». А дворовый пёс, отгонявший собратьев от ворот учебной студии, завидев меня с широко раскрытым билетом, добродушно повиливал хвостом. Почему же бес не уронил кляксу на мой билет? О таких мелочах я не задумывался. И напрасно...

...автокомментарий

В романе/фильме «Клуб Дюма, или Тень Ришелье/Девятые врата» Артуро Переса-Реверте/Романа Полански, баронесса Кесслер предупреждает Лукаса/Дино Корсо об опасностях, которые таят книги. Например, мемуары сатаны. Взавший их в руки, обречён. Какое своевременное напутствие. И, берясь за детство Гитлера, я должен был предвидеть последствия. Во всяком случае, я не мог о таковых не думать.

И опасность подстерегла. Ближе к полуночи охранники выкуривали из аудиторий голубков. Зашли и ко мне. Всегда осторожный, в этот вечер я не стал прятаться и даже разогрел на электроплите ужин, чего никогда не делал в поздний час. Должно быть, бес усыпил бдительность. Иногда лукавый строит козни из куража, чтобы тот, кого он приветил, испытал трепет душевный. За полгода до «катастрофы» я столкнулся с Люцифером на кинопросмотре для прессы. Чувствую локоть наглеца. Отпихиваю. И узнаю в соседе владельца зонта-трости. «Однажды, — говорит тот, не отрывая бездонных глаз от экрана, — я смотрел фильм... Вру... Проспал весь сеанс. А когда, ткнули в бок, уставляюсь в экран и вижу: молоко льётся тонкой струйкой из пакетика, и пёс лакает его из мисочки... Даже не знаю, на чём меня так сморило».

— На «Сталкере», — с укором я смотрю в глаза бесу, резко поднимаюсь и выхожу из зала.

Вот враг и отомстил за тот укор, за *интонацию*... и подстроил так, чтобы я был повинен в том, что поздно поужинал, что гремел посудой, и что спираль электроплиты «мигнула», когда в шкафу Клары Гитлер задребезжало столовое серебро. Я застыл в тревожном ожидании. И тут же раздалось жиденькое хихиканье, словно, отчаянно пискнув, летучая мышь задела крылом портрет Франца Иосифа... Ужас полез из всех щелей. И я почувствовал, как меня вскрыл консервным ножом морок, чтобы полакомить вселенское зло.

Я не услышал, как отворилась дверь. Но зажженный фонарь, почувствовав неладное, — вот и верь профессорам на слово, что вещи подслеповаты, туговаты на ухо и глупы, — вырвался из моих цепких пальцев. Тут же луч обрисовал широкой малярной кистью контур декорации. Стало так тихо, что нейтринно, бомбардируя письменный прибор, чиркнуло по крылу ангела из папье-маше. Тут до меня дошло прерывистое дыхание, какие-то словечки, и даже заглатывание слюны... Бубнили двое. Речь первого раскатывалась, точно грозовой фронт, сколоченный из винных паров всех московских рюмочных. Второй носа не казал, а голосок, — писклявый и властный, как у дембелька, — шуршал что-то конфетной оберткой, сминаемой в полудетском кулачке. Пожилой и матёрый всё больше отдувался. Паренёк же трусил, и из щенячьего его визга я выудил «выставить пост» и «дождаться полицию». Но вот дверь заперли. Шаги удалились. А приводные ремни ума стали вращать зубчатые валы и колёса с такой скоростью, что пяти секунд мне хватило, чтобы распахнуть окно и швырнуть в сугроб перед фасадом ВГИКа кастрюлю с макаронами. Следом я отправил и раскалённую плиту. Сугроб оскалится, как обваренный пёс. Но, смахнув корку льда, сковавшую пот и слёзы, я вперил в порошу своё бесстрашие. Тут же медузы-фонари обожгли роговицы, а небо, прежде добродушное, приветливое, а ныне подслеповатое, заработавшее катаракту от ядовитой подсветки, расхохоталось и уставило в меня свой циклопический глаз. Затворив окно на тугой шпингалет, я карабкаюсь в логово. Тишина. Лишь сердце грохочет на весь квартал. А когда смолкает и этот трезвон, я чувствую, как молчание ранит перепонки, а воздух — напрягает мышцы. И вот я различаю, как темень пульсирует в ритм сердца, и как в унисон стенаниям натягиваются и лопаются в безмолвии голубые прожилки моего ужаса. Я хочу забиться в щель, провалиться в тартар, в шеол, в преисподнюю, но только не ждать... А ещё, я так поистаскался, излазав вдоль и поперёк оторопь, что ясно вижу, как погибели любезно приподнимают веки, на случай если маскировка моя окажется искусной. Похоже, меня заметили! Я догадываюсь об этом, как только ритмичная возгонка сумерек переходит в скорбное шествие, — так в детстве печатали шаги за лафетами с гробами генералов. Смерть тогда сулила ворох новых чувств, и смельчаком считался мальчишка, кто первым просочится в дом офицеров, влезет на табурет и заглянет в узкое, размером с книжный обрез, окошко цинкового гроба...

И вот я слышу, как дьявольское посольство грохочет у двери. Замешкались, — должно быть, палач забыл инструмент... Волна сладкого удушья накрывает с головой, но кто-то решает, что прежде, чем пропасть ни за грош, я должен услышать, как раскатисто выругается ключ в замочной скважине и как скрипнет в гробовой тишине дверь, пропев что-то об усопшем рабе... Входят. Идут строем, как каппелевцы в «психической атаке». При этом околачивают фондус ломами, а того, кто прячется, обещают освежевать и скормить псу. А вот и щенячий визг дембелька. Подойдя к пеналам, он шуршит фильтрами. Вот-вот и вскинет пятерню, чтобы сунуть в логово. Я жду. Но парень тянет кота за хвост. Похоже, мучить — конёк, которого он оседлал. Наконец становится так покойно, что слышно, как тишина выедаёт мозг по краям, как первоклашка — пирожное.

О, что за мука, это предсмертное томление! Когда же меня утянут на дно мутные воды Стикса, и я услышу, как звенит волосок, на который меня подвесили, и как мир, с которым я бодался, подносит к нему свои овечьи ножницы. Наконец, устав играть роль жертвы, я поворачиваю глаза зрачками внутрь. Теперь ясно, что всё это устроил Господь. Ему угодно, чтобы совесть подвела итог, а нравственные муки оказались во сто крат горше любых приговоров — светских и духовных. И, почувствовав потребность в самобичевании, взяв в руку длинный, гибкий и толстый прут из лозняка, я флаггелирую свои амбиции. Прежде я рвал зубами жилистое мясо истины, чтобы, не разжёвывая, глотать — кусок за куском... И что же? Набив себя под завязку апориями Зенона, злом пифагорейцев, субстанцией Спинозы и неисчислимыми мирами Бруно я очутился на общепитовской тарелке. Вот-вот и всепожирающее время умнёт меня за обе щёки... Как закройщик, я куда скромнее тех, кто распарывал и обмётывал ткань бытия, но даже построить *шинели* не успеваю, ведь ателье моё вот-вот заколотят и пустят с молотка...

— А картошечка-то в мундире, и чаёк недопит, — перечисляет улики дембелёк и вскидывает голову. — Нет, Палыч, определённо здесь живут...

— Брось...

— А свет?

— Почудилось...

— Ты так говоришь, потому что упустил сукиного сына. Я же сказал: «Пост выставить!»... А ты: «Отзваниваться нужно. Отзваниваться».

Палыч что-то мямлит в оправдание. И тут дембелька осеняет: — А что, если дух зачморился? А, Палыч? Сидит в шкафу, нас, лохов, разводит? Ну как, вылезай, маменькин сынок... И дембелёк молотит по фондусу в надежде свести с ума того, кто сверкнул пятками, но застрял в кроличьей норе.

— Остынь, — требует Палыч.

Устав от смерти, в которой вволю пожил, я захотел высунуться и скорчить рожу: мол, смотрите, кого проворонили... Но тут произошло «нечто», а когда клемма соскочила с болта и электрический ток, почувствовав, что отпущен на вольные хлеба, пустился во все тяжкие, я понял, что слетел с катушек... Нет, я не утверждал, что у алжирского дея под самым носом шишка, но то, что соткалось в моём воображении, заставило призадуматься: а не правнук ли я Аксентия Ивановича Попрощина, или, на худой конец, не дальний ли родственник товарища его детских игр?

Я и прежде лицедействовал, но выходил из роли. А тут не смог. И всё из-за публики, из-за завсегдатаев, требующих премьера на бис. И настойчивость они проявили вопреки моему желанию содрать накладные ресницы, смыть грим и швырнуть костюмеру хламиду Тиресия, в образе которого я поджидал тех, кто бы плеснул на камни Аида кровь жертвенного барашка, — так вот, вопреки моему здравому смыслу зал взорвался аплодисментами. Оглушённый успехом, я стушевался и юркнул в суфлёрскую будку. Но меня извлекли и торжественно водрузили на просцениум. Само безумие, купив билет в vip-ложу, устало в меня театральный бинокль. Огни рампы ослепили и выбили из-под меня твердь. И тут фантазию сорвало с цепи, и я так распетушился, поверив в свою звезду, в яркий и богатый красками талант перевоплощения, что изящным жестом корифея прорвал траурный креп одной мании, чтобы угодить в другую... И в бреду, вдруг затащившем меня в кутерьму жанров, дивертисментов и gala, я представил, как лежу на смертном одре в одежде Папы Римского. Я был мёртв. Лежал, как и полагалось покойнику, не шелохнувшись, а рядом на коленях, молитвенно сложив обе ладони, стоял камерленго с лицом дембелька... Из книг я знал, что кардинал, выбившийся из низов, мог стать регентом в течение *Sede Vacante*, — так латиняне называют время без наместника Христа, но и осиротевший престол.

— Лох ты, а не зам! — произнёс я заносчиво, и тут же осёкся: не слишком ли громко? — А всё из-за тебя, пудель, — перешёл я на шёпот, присел на одре и пнул пса кончиком папской туфли. — Вертишься волчком, калачиком укладываешься у ног, а сам спишь и видишь, как бы извальять мою папскую постель...

Пудель с лицом дембелька подобострастно взвизгнул, лизнул мою стопу, изогнул спину и потребовал почесать загривок.

— Сидеть, — скомандовал я, и доходчиво стал втолковывать дембельку, принявшему облик пуделя, всю пагубность его положения. Во-первых, он никакой не временщик, и молотит по декорации почём зря, а ведь всего-то и нужно, что подойти к одру, трижды ударить серебряным молоточком усопшего папу в лоб, трижды назвать имя, которое покойный получил при крещении. — Бьюсь об заклад, приятель, что ты ни сном, ни духом в этих делах, — сказал я. — Во-вторых, — продолжил я втолковывать, — ты не

прочёл и сотой доли книг, которые я замусолил до дыр... А если бы прочёл, узнал бы, какими вопросами камерленго докучает мертвецу...

— Что за вопросы? — грянул внутри меня хор голосов. Должно быть, у мысли моей нашлись и другие отцы. Мы носим в себе поколения предков, и иногда, очнувшись от спячки, пращуры вступают в диалог.

— Ладно, уж, коль вы собрались, слушайте, — я встал с одра и прошёлся по опочивальне, сопровождаемый пуделем. — «Carolus, dormisne...Король, ты спишь?» спрашивает камерленго, но мертвец не отзывается, что разумно с его стороны, — я подошёл к запертой двери, привстал на колени и заглянул в замочную скважину.

Пудель залаял. Я прижал к губам палец и нахмурил брови.

— Вижу, дружок, тебя так и распирает узнать, что же говорит временщик, чья власть над курией вот-вот закончится? А сам-то ты не догадываешься?

— Откуда мне знать, — взвизгнул пудель и завертелся волчком.

— Vere Papa mortuus est...папа действительно мертв, — подняв указующий перст, громко и чинно произнёс я, и тут же зажал рот ладонью: не слишком ли громко? В досаде я стал стыдить дембелька, называть плешивой, в колтунах, ищейкой, не сумевшей унюхать падаля в самом захудалом из всех кладбищ... Мысль о том, что ВГИК кладбище, умиротворила, и в душе я даже расхохотался...

— Но я временщик, — жалобно заскулил пудель.

— Чем докажешь?

— Вот! — он протянул на ладони, снятое с безымянного пальца моей правой руки и разломленное с помощью щипчиков *Anello del Pescatore*, «кольцо рыбака».

— Ну-ка, ну-ка, — всем телом я потянулся к дембельку и едва не свалился со своего «гробика». А когда ум стряхнул наваждение, я в ужасе стал подсчитывать секунды, после которых меня извлекут, разоблачат и изгонят.

Охранники гомонят у выхода из аудитории... Повезло! Но, повезло ли? Разве тот, кто забрался в мой мятущийся ум, не выставит на посмеище всё, что мне дорого? И разве, обшарив меня, он не скажет: «Вот пример неудачника, которому не снять кино, не провозгласить конца философии и не сдать дело мысли в архив»? Я слышу, как о чём-то условившись, охранники подходят к пеналам. Топчутся. Шуршат. Застывают, должно быть, вскинув головы. Секунда и тайну железной маски раскроют, и тогда прощай кино, прощай свобода, прощай всё. Я знаю, что следствие проведено, суд состоялся и приговор вынесен, а это значит, что, побывав в роли подследственного, подсудимого и осуждённого, я должен блеснуть в амплуа этапированного.

Собственно, конвоиры и пожаловали, чтобы вручить мне предписание. А ещё до меня доходит, что рок вот-вот вычеркнет меня из своего послужного списка, что даже суховею, сбившемуся с пути, не ворошить больше страниц тетради, которую я позабыл на садовом столике. Если бы не это горячее дыхание у моего лежбища, не этот охотничий инстинкт, который не заглушили вино и водка, я бы спас рукопись от дождя, — «чёрную тетрадь», чьи страницы я переплёл, и куда так и не успел вписать слово *Trinocular*, как досократики вписали — *Fusiz*, Аристотель — *Energia*, схоласты — *Actus*, Бергсон — *La durée*, Хайдеггер — *Dasein*, Сартр — *Liberté*, а Соловьёв, Булгаков, Флоренский и Карсавин — *Всеединство*.

Я ждал руки свыше. Но, отчаявшись, усомнился в Том, кто не пожелал её протянуть.

...автокомментарий

Существует ли Бог? И да и нет. «Нет», потому что Бога нельзя уложить на прокрустово ложе опыта, теории или интуитивного познания. «Да», потому что тот, кто уверовал, сам стал аргументом в пользу существования Бога — часто единственным.

Охранники прервали ход моих размышлений, и я позабыл, смог ли доказать существование Бога. По фундусу стучали. Похоже, дембелёк прятал трусоватость за удалью, с какой обмолачивал декорацию. Он полон решимости, отхватить кусок из пищевой цепи. Я ждал развязки. Вот бы умереть, да так сгинуть, чтобы не казать носа... Но охранники и не думали расходиться. Жизнь в них была ключом. Они закурили и даже стали вышучивать дембелька.

— Но я же видел, — подвывал тот.

— Может, и видел, — буркнул «Палыч». А затем выпалил: — Айда пить водку!

Но молоденький охранник решительно подошёл к пеналам, где на полке стоял стакан недопитого чая, и вскинул голову. О, любезный читатель, как порой прекрасны лица палачей! Лёжа на животе, я видел сквозь прорезь в нестроганных досках настила несчастные глаза паренька, — впалые от недосыпа, с горючей семипудовой слезой на детских, полуслипшихся ресницах. Он *смотрел* и не *видел*. По чьей воле? Но разве, спрашивая, я заранее не знал ответа? Разве тот, кто уберёт беглеца и застил взор преследователю, не сам Господь? К горлу подступил ком. Слёзы потекли. Сердце затрепетало. А душа, подобно живой кости, раздробленной, но надлежащим образом соединённой, подверглась остеосинтезу...

— Пошли, Витёк, — сказал третий охранник. — Палыч проставляется.

И они ушли. От этой кутерьмы я так устал, что песок, забившийся в приводные ремни ума, стал скрипеть на зубах... Помню только, что я молился,

и что Господь призадумался. Конечно, Ему было угодно наказать меня, но ни в этом месте и ни в этот час... Тут и случился *казус*, после которого вожжа, попавшая истории под хвост, направила меня в павильон, набитый чертями. Иду, а сам думаю: «Как возможно, что я валяю дурака на студии, и в тот же час дрожу от страха в аудитории № 218-ть?» Шум и гам взбудрили, но, когда в опохальщике, отгонявшем мух от «повелителя», я узнал себя, да ещё в каком-то шутовском колпаке, в позе подобострастия, с верноподданническим блеском в крысиных глазках, мне стало не по себе.

— Что за шутки? — спросил я у актрисы в костюме ведьмы. — Если это розыгрыш, то довольно: я уже оценил юмор и хочу на боковую...

— Никакого розыгрыша, — с потухшим окурком, торчавшим из щербатого рта, дамочка схватила меня за руку и втокнула в толчею.

И тут мерзости, что я совершил, и те, что ждали своего часа, обрели тела и стали шествовать за мной двумя колоннами, как плакальщики за гробом. Меня стало знобить, а кровавый и липкий пот струился по лбу и обжигал роговицы. Тут грех мой, дерзко рассмеявшись, соскочил с «лица» и чинно стал вышагивать перед дверьми, за которыми бесы принимали жалобы и ходатайства от падших духов. Думая, что чист, я изгваздался о падаль, в которой без труда узнал свою распластанную душу; думая, что, привив себе штамм прелести, всучу человечеству иммунные клетки, я погряз в самообмане.

— Какой жалкий хоррор, — проямлил я, чувствуя, как земля уходит из-под ног.

Я споткнулся о кабель, проковылял метров пять и упёрся носом во все лукавого и все злобного врага. С копной вороньих волос, изящно отброшенных на затылок, и с шёлковым шарфом, полоской бисквита окаймлявшим прогорклый корж пальто, владелец зонта трости стоял спиной ко мне, и в руках, заведённых за спину, разминал моё обстрипанное «дельце».

Люцифер обернулся и сверкнул мне платиной своих коронок. И тут же в уши мне ударил хруст челюстей. Вскинув голову, я увидел, как тля поедает светозарную нить, чтобы ворсистый, расшитый арабесками, домотканый ковёр Духа Святого больше не радовал моих глаз.

— Представь, устыжённый тобой, я взял колу, попкорн и уснул на том же самом месте, — рассмеялся бес, но тут же осёкся, натянув на лицо, мину глубокомыслия. — Этот «Сталкер» крепкий орешек... Но я хочу, чтобы ты взбудрил здешних, сняв что-нибудь попроще... Я заплачу. Подберу звёзд, массовку... У меня своё агентство... В детстве все лица босые, и только грех придаёт им своеобразие...

— Как долго я мёртв?

— Ха-ха-ха, — рассмеялся Люцифер. — Чтобы жить в аду, вовсе не обязательно умирать... Бес раскрыл свой зонт-трость Олле-Лукойе, и оттуда посыпались конфетти, хлопушки и мыльные пузыри всех размеров.

— Сферы? — тут я оживился. — Вложены друг в дружку, как матрёшки в сестру.

— Это всего лишь идеи, — он по-деловому окинул взглядом своё ментальное хозяйство. — Ад кишит идеями, здесь они рождаются, делают первые шаги и умирают, не оставив завещаний...

— А где же стигийское болото, круги, щели, рвы?

— Ад — это головы, в которых нам предстоит куковать.

— Ты хотел сказать — умы?

— Вот именно... Все мы томимся в чьих-то умах. И тот, кто принял нас на постой, решает: вытолкать в шею нашу мысль или взять на поводок, как собачонку...

— Но я человек...

— Ты — мысль, родившаяся в уме. Остаётся выяснить — в чьём?

Он раскрыл и раскрутил свой зонт и миллиарды галактик, звёздных скоплений и чёрных дыр пронесли перед моим взором, оставляя на небе, переливающийся всеми красками лазорево-жемчужный шлейф.

— Взгляни на эти тёмные фракции, словно стёкла со сколами, сквозь них всё кажется мутным, едва различимым...

— Вижу...

— Это мысли убийц... Все планы насильственных смертей, когда-либо посещавшие умы.

— Как они мерзки! Покинем это место.

— Как прикажешь, — он прижал руку к груди в знак покорности, а затем ловким жестом фокусника сложил зонт-трость. — А вот другое узилище... Взгляни на эти сухие и ломкие стебли из пены, которую смахнули с губ ангелы...

— Что это?

— Логические ошибки, — бес прочертил пальцем линию, и латинские литеры выстроились перед моим взором, как осиный рой. — Вот «ad personam», с помощью этого аргумента заносчивый спорщик переходит на личность собеседника: «Ты глуп и уродлив, приятель, поэтому твой тезис неверен». — Он стёр надпись ладонью и извлёк из Ничто следующий

фрагмент. — А вот «argumentum ad nauseam», довод этот болван талдычит, пока у оппонента не возникнет рвотный рефлекс. — Упрямство достойное осла. — Дьявол рассмеялся по-детски заразительно, сложил губы трубочкой, сдул строку, а следующую извлёк из рукава пальто, как краплёного туза. — А с помощью «argumentum ad baculum» наглец угрожает бить палкой каждого, кто осмелится ему перечить...И все они надменны, эти ошибки... Проходу не дают... Подавай им глупцов, словно ад брачное агентство...

— Выходит, идеи выбирают головы, а не наоборот?

Бес щёлкнул пальцем, и из воздуха соткался старик в хламиде, бликующей в лучах закатного солнца.

— Познакомься, — князь тьмы указал на поток нейтрино, формой напоминавший человека, — когда-то идея эта принадлежала Горгию из Леонтины, а теперь она сторожит ворота ада. — Он похлопал по плечу старика. — Этот ритор прожил сто восемь лет, но дорог мне не тем, что коптил небо дольше прочих софистов, а своими побасёнками... Ну-ка, изреки...

— Ничего нет, а если что и есть, то не познаваемо, а если познаваемо, то не передаваемо другим, — дерзко прохрипела тень, не довольная тем, что её потревожили.

— Слышал?

Но, увидев, что я думаю о «своём», дьявол подошёл и в шутку ткнул меня в бок зонтом, чтобы вывести из оцепенения: — Ты читал Горгия?

— Нет...

— И зря, — он взял меня под руку, и мы закружились втроём в потоке невидимой магмы. — Горгий намял бока Пармениду, сказавшему: бытие «есть», а небытия «нет».

— Но бытие есть...

Люцифер отшвырнул меня от себя. Я несколько раз перекувыркнулся в воздухе и все трое мы зависли над эмпиреем, где властвовали бури и огненные вихри.

— Не зли меня, человек, — сказал повелитель.

— Но ведь кто-то же разозлился, и даже показал свою неучтивость, — сказал я. — И этот кто-то — ты! Следовательно, если есть грубость, есть и грубиян.

— Вижу, ты силен в диалектике... Значит, осведомлён и о бытии. И где же оно, твоё «бытие»? — спросил бес. — Расскажи о сущем, или укажи на него пальцем, как Кратил.

Тут он исчез вместе с Горгием. Я обшарил глазами Универсум, побывал во всех межвежбых углах за-ничтожности, но обоих и след простыл. Я даже выбросил вперёд руку, ища вещь, предмет, явление. Но нигде не было ничего определённого. И тогда я указал пальцем на себя.

— Ха-ха-ха, — владелец зонта-трости соткался из ничто. — Тебя-то как раз и нет, приятель. Ты мёртв или недостаточно жив, как «кот Шрёдингера».

— Что же тогда есть, если нет ни меня, ни тебя, ни Бога, в которого, полагаю, ты не веришь?

— Да ничего нет... И давай прекратим толочь воду в ступе...

Мы неслись в потоке нейтрино как две корпускулы/волны, не зная преград, и не понукаемые ни волей извне, не силой изнутри.

— Ты здесь. И даже не спросил — почему?

— Почему?

— Да потому, что тебя гнетёт тайна сиротства. Ты бастард, и этим мучаешься...

— Я человек.

— И кто же твой отец?

Я опустил лицо. Он прервал полёт, и мы очутились в узилище, где томились мысли, приходящие в голову детоубийцам.

— Ты стыдишься сиротства. Мать отмалчивалась. Но я могу назвать имя твоего отца.

— Не смей!

— Но ты бы хотел повидаться?

— Зачем? И к тому же, едва ли это доставит ему удовольствие...

— Тогда скажи, только правду, как на исповеди... узнав, что отец твой убийца, что осуждён и отбывает срок, что тебе дали свидание, ты бы поехал?

— Поехал...

— А если он совратитель, увивающийся за девочками и мальчиками... услышав это, ты бы закрыл дверь перед его носом?

— Не знаю... Наверное, не смог бы...

— Вот и я бы не закрыл. А ведь мой старик изгнал меня, не дав даже слова вымолвить. Всё он спланировал, и даже моё падение в ад. Но я не таков. Я хочу

всё исправить. Вот, скажи: в чём вина Иуды? Разве поцелуй его не был предопределён? Иуду с пеной у рта оправдывает Леонид Андреев. Читал?

— Читал...

— Но Иуда виновен. И виновен не в том, что согрешил, а в том, что не возроптал, не сказал: не желаю потакать: ни тебе, Господь, ни тебе, сатана.

Он раскрыл передо мной зонт-трость, раскрутил, и взору моему предстала сцена из фильма Пьеро Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея». Иуда. Христос. Тайная вечеря.

— Иуда мог вернуть билет обоим, как Иван Карамазов, — сказал бес. — Но истребовал рассаду зла, взрыхлил и унавозил почву, засеял чертополохом, обмолотил, замешал тесто на слюнях дьявола и испёк бесовской кулич.

Он сложил зонт, и череда чёрно-белых образов из фильма юркнула в щель между спицами.

— Я привёл тебя сюда, сын мой, — сказал Люцифер, — не потому, что душу твою светлую, намереваюсь похитить, а затем только, чтобы свою спасти и твоей не воспользоваться... Видишь, как я честен... Я явил тебе свою слабость в надежде, что ты не злоупотребишь доверием.

— Я это ценю...

— А если бы я сказал, что раскаиваюсь, что хочу прервать поток злонамерений, ты бы помог мне?

— Помочь тебе, в чём? — сказал я, почувствовав, как жернова моего ума, сорвав приводные ремни, жуют металл.

— Если бы я сказал, что хочу совершить вылазку внутрь себя, к началу, к незамутнённым истокам, ещё не разделённым фракциями... если бы я сказал, что нуждаюсь в целостности, девстве, гимéне, ты бы помог?

— Не пойму, о чём ты просишь...

— Я хочу вернуться к точке, с которой всё пошло наперекосяк. Начать сначала...

Он нежно обвил мою шею, плечи, развернул лицом к себе.

— Взгляни мне в глаза, возлюбленный мой, чадо моё, сокровище... Узнаешь ли? Ведь я отец твой... Я тот, кто макнул перо в чернильницу...

— Не смей оскорблять мать. Ты — луковый лжец!

— Прости! Я причинил боль! Я позлить тебя хотел... Посмотреть — оскорбишься или нет. Я испытать тебя хотел... Можешь ударить. Вот моя щека... Бей!

Он подставил под мою, уже было занесённую руку, свою правую щеку.

— Бей, раз замахнулся!

— Нет... Не могу, — заревел я, как раненый зверь, и отошёл вправо, хотя понятие «правое» и «левое» теряли всякий смысл в том месте, в котором мы очутились.

Бес виновато потупился. Подошёл и взял меня под руку.

— Прости! Я лишь убедиться хотел, сын, что ты ударить осмелишься, что чёрта не испугаешься... А теперь я тебя ещё больше люблю за то, что честен, смел, и что душа светла, что нет в ней червоточин...

Мы медленно пошли рука об руку. В ушах зазвенело. И я почувствовал, как слова беса, согретые в чаше для приворотных зелий, вскружили мне голову.

— Холодно, — дрожа всем телом, произнёс я, и ум мой сковала лазорево-жемчужная корка льда. Но мысли, казалось, приросшие к заиндевевшей стали бесовского рассудка, я смог уберечь, — так мальчишка, лизнув обледенелое железо, с болью и кровью отрывает прилипший язык.

— Потерпи, я дам всё, что пожелаешь! — Князь мира простёр пятерню над штрафными ротами идей, незримыми шеренгами, печатавшими шаги на плацу. — Положу к твоим ногам горы, моря, кальдеры вулканов и подводные впадины, недра и литосферу, галактики и мультиверс... А потребуешь, извлеку из подпола все миры Бруно, все эйдосы Платона, все субстраты Аристотеля... Я отец твой, а ты — сын... Нас разлучили... Но мы нашли друг друга. Я не видел твоего взросления. Ты не знал моей отцовской любви... Но вдвоём мы наверстаем упущенное, дитя возлюбленное, кровинушка единокровная! Я окуну тебя в Ничто́. А затем зачну, выношу и изгоню из своего лона... Ты не будешь знать гипоксии, тебя не выдавит акушерка... Я залижу твои раны, услышу твоё «Агу...» и увижу твой первый шаг... А потом, когда ум твой родится для знания, я вложу в тебя все книги, когда-либо написанные, чтобы избавить от походов по лавкам букинистов... Отныне ты не бастард, не безотцовщина, не сирота... Видишь, мой мальчик, как я любвеобилен и щедр... Я привёл тебя в ад, чтобы смыть свой позор, своё жестокосердие... И вот я стою перед тобой с коробкой просроченных конфет... Простишь ли ты старого дурака? Не оттолкнёшь ли? Я у края пропасти! Не позволь мне сорваться! Сын мой, любовь моя... Руку! Руку мне подай...

Люцифер простёр ко мне обе руки для объятия.

— Прочь, змей! — я оттолкнул его. — Как душно... На воздух... К свету...

И в тот миг, когда бес, содрогнувшись, уставил в меня зрачки размером с галактику, душу мою вырвал из его цепких объятий Ангел Господень... В час волка я отважился на вылазку. Медленно и бесшумно отворив дверь, я нырнул в кромешную тьму и на цыпочках дошёл до мужской уборной. Нащупав

дверную ручку, я потянул створку на себя, но, услышав скрежет, вонзивший два ряда волчьих зубов в барахтавшуюся в предсмертных конвульсиях ночь, я замер в тревожном ожидании. Грохота сапог я не дождался, и, решив, что крепкое вино сморило циклопов, вошёл в туалет. Нашупав выключатель, я поостерегся зажигать свет. Весь ужас пережитого, все сцены, участником которых я стал, изготовили снаряд, вогнали его в мой организм, снабдили гильзой, порохом, пыжом, а затем произвели выстрел. И тут же меня вывернуло «швами наружу»... А когда, нащупав кран, я пустил тонкой струйкой воду, вулканическая лава и пепел, сорвавшие крышку кальдеры, обсыпали меня с ног и до головы. Попыткам соскрести нечистоты с одежды, лица и рук я отвёл час, в течение которого боролся с приступами тошноты и вправлял вывихнутую кость уму, который уже пообвыкся с хромотой и готовился подволакивать мысли, как инвалид — «фантомную боль». А, почистив пёрышки, я стал протискиваться в створку, опасаясь предательского пения петель. Затем, не имея мужества длить пытку, решительным жестом распахнул ненавистные ворота ада, пересёк коридор, ворвался в аудиторию и заперся изнутри. Отдышавшись, я стал ждать визитёров. И бес, с любопытством следивший за трепетом мотылька, чей полёт вот-вот прервёт жар раскалённой лампы, стоял позади меня, скрестив на груди обе руки. Прежде участливый и заботливый, Люцифер пылал мстостью за моё презрение к его отцовским чувствам, но терпеливо нанизывал козни на шампур, помня, что месть — блюдо, которое подают холодным. Я бросил взгляд полный безрассудства на место, где, как мне казалось, стоял искуситель, но никого не увидел. Выходит, я и на самом деле болен! И болен давно. Внутренним взором я упёрся в предел, который был мне установлен. Разве не мои тщеславие, честолюбие и эго снабдили холестерином ум и чувства, чтобы тромбами законопатить кровотоки здравомыслию? А, ссудив воображению капитал, разве я не обнаружил, что своеволие одержало верх над дисциплиной, а фантазмы заполнили пустоты, прежде уготованные постам и молитвам. И разве в том, что каверны души, зацементированные ангелами, я расковырял, чтобы поселить в прореху беса, которого зачал, вынес и изгнал, как организм, обходящийся без мужского семени, — разве всё это не указывает на мой порок? Я только подступался к мысли, что бросить перчатку чёрту равносильно тому, чтобы высечь себя самого, но не как унтер-офицерская вдова, которая лишь публично осрамилась тем, что чесала языком без меры, а высечь в смысле внутреннего саморазоблачения и самообличения. К такому нравственному суду я не был готов. Я был слишком слаб, чтобы со всей любовью и трепетом душевным исполнить вердикт совести, голос которой охрип от частых призывов. Мысли путались. Я не мог взять в толк, где я нахожусь, какое тысячелетие на дворе, и куда бежать, если, раздавшийся с небес трубный глас, оповестит мир о пришествии Дня Гнева Господня. Я взглянул на часы — без четверти пять. Мне требовался отдых. И, забившись в свою щель, как короед под луб, я провалился в сон, в котором меня выстукивал и склёвывал вьюрок.

А, угодив в клювик птички, юркнув по zobу в ещё более крохотный желудочек пернатого, я не сгинул, как того требовала природа, а очутился в подвале Дзявры Анастасии Кирилловны, — моей украинской нянюшки. Как я попал в своё раннее детство? И куда подевались ВГИК, охранники, чертовщина? С минуту я ещё твёрдо сознавал, что снимаю фильм о детстве Гитлера, что мне 36-ть лет, что я русский, родившийся во Львове, в который в 1939-м вошли танки Тимошенко. Но вскоре, когда затхлый запах подвала на Саксаганского 20 и ароматы кухни, где старуха стряпала для сироты, ударили мне в нос, я уже твёрдо знал, что попал в прошлое, которому благоволил. До горечи знакомым мне показалось и моё прежнее тельце нахалёнка, кричавшего, что Бога нет, и за эту дерзкую выходку сосланного ангелами под надзор праведницы. Маленькая, сухонькая, с клубком седых косичек, собранных в пучок на затылке, с искусственным мостом передних зубов, который на ночь клался в гранёный стакан, украинка говорила надтреснутым высоким дискантом. Голосок бабы Насти звенел, как колокольчик в руке служки, обходящего храм с церковной кружкой, — в девичестве, спасаясь от волков, поселянка провела бессонную ночь в ледяном озере. Левый глаз старухи подёрнуло бельмо. А широкий, как у африканки нос, морщинистая, как печеное яблоко, кожа на впалых щеках, полудетская улыбка, никогда не сходившая с её сияющего внутренним светом лица, придавали чертам батрачки из Лемберга сходство с рембрандтовской старухой. Когда мать, желая насолить мужскому племени, снимала с меня семь шкур, раба Божья выкидывала вперёд жилистые сухие руки и хлёсткие удары от ремня или скалки приходились по ним. Мать трезвела от такой кротости, а когда старуха спускалась в подвал, называла соседку бессребреницей, которая, обстирывая еврейские семьи, чистя их столовое серебро, отмывая штабеля кастрюль, получает за труды стопки советских новогодних открыток, исписанных пожеланиями счастья и долгих лет. За этот стеклярус от аборигенки требовали золото, которое горело ярким заревом на её натруженных руках. Подвал достался ей от польской четы. В спешке покинув Lwów в 1939-м, когда в город вошли части НКВД, владельцы двух сырых комнаток с окнами-бойницами, вросшими в брусчатку, больше не давали о себе знать. Их поглотила война, пощадив, однако, старый австрийский дом, в котором я и родился. Дом походил на сахарный пудинг: верхние этажи, «господские», с лепниной в виде пальмовых ветвей, которыми Иерусалим встречал Иисуса — взбитый бисквит; а нижний, цокольный этаж, с крысами и плесенью на потолке — прогорклый корж. С мамой мы ютились в тёмной, узкой и сырой «кавалерке» без водопровода и туалета. Комнатка примыкала к большой квартире Седовых, но имела свой вход. Квартиру и комнатку разделяла филёнчатая дверь, заставленная шкафом, сквозь которую Вовка Седов, — сосед одноклассника, — слышал мои вопли, а я — его стенания. Жертвы «воспитания», мы мечтали о реванше, и обсуждали специфику побоев в еврейской и русской семье. Время слоилось в доме, скрывая тайну о прежних жильцах, которые, унося ноги от советов, оставили всё, что не смогли унести. Подвал напоминал книгу, исписанную замысловатыми иероглифами. Здесь свой век доживали пузатый

немецкий шкаф, резной буфет, дубовый стол, покрытый красной скатертью с тяжёлыми кистями и бахромой. К простенку между окнами жался комод, набитый сапогами, пахнущими дёгтем, а на его лакированной поверхности красовались ларец с секретом и вращающееся круглое зеркальце на медной подставке. На столе одиноко стояла узкая, фиолетовая, как баклажан, ваза для вдовьих роз. Со стен, выкрашенных однообразно и без изыска, свисали религиозные картины в тяжёлых рамах, а в отдалении, забранная стеклом, мне подмигивала виньетка, изображающая палубу океанского лайнера. На цветной литографии, покорно склонившись, араб в чалме подавал бокал красного вина барышне в белом платье и с тонкой, обшитой кружевом парасолью над изящно откинутой головкой. И вот, овладев тельцем сорванца, я прислоняюсь к голландской печи из зелёного изразца, которую когда-то растапливал деревянными ящиками из-под водки. Печь гудит, становясь красной, как пасхальное яйцо. И, обжёгшись, я чиркаю ладонью по ворсистому домотканому гуцульскому ковру, чтобы упасть на изогнутую, как арабское седло, оттоманку. Положив обе руки под голову, я слежу за ногами прохожих, снующих перед окошками. Но соглядатайство утомляет. И, подойдя к «шафе», я отворяю дверцы. Вот чугунный утюг, разогревавшийся углями, которые следовало класть стальными щипчиками в его ненасытную утробу. А вот деревянная ложка, которой я зачерпывал горки муки из чана. На месте и базарные весы с двумя мятыми чашами и целой армией медных гирек. Я пересчитываю гирьки, самая маленькая из которых размером с горошину, и, смахнув их в кулак, сажусь за стол. Если отвалить красную скатерть с тяжёлыми кистями бахромы, можно выстроить на дубовой столешнице полки из гирек, чтобы бросить их в атаку на редуты доминошек из слоновой кости. Но вещи, когда-то исправно служившие мне, кочевряжатся и воротят носы, точно сироты, впервые увидевшие отца... Но стоит мне взобраться на стул с высокой витой спинкой и прикоснуться к верблюду из чёрного дерева, стоящего на резном буфете, как пуповину, соединявшую настоящее с прошлым, отсекает невидимое лезвие. Я становлюсь тем, кем был, становлюсь мальчишкой, знающим, что у бедуина погонщика, восседающего верхом на верблюде, к седлу приторочена торба, и что в сумке мавр устроил тайник. Сколько раз, играя в Али-Бабу и сорок разбойников, я откидывал крышку торбы, чтобы извлечь и согреть в кулаке обручальное колечко — серебряное, мужнино, которое нянюшка велела надеть ей на безымянный палец прежде, чем её положат в гроб. Увы, но я не исполнил наказ. Седовы выкрали кольцо, когда баба Настя, угодив в больницу, доверила им ключи от подвала. И, увидев слёзы на глазах украинки, я барабанил в дверь к соседям, угрожая бить стёкла, пока кольцо не вернётся в торбу погонщика.

— Только швырни камень, подкидыш, и я засажу тебя за решётку, — бросила с порога старуха Седова, вдова партийного функционера.

Я рыдал, но беззвучно, одними только кончиками губ... А когда воровка хлопнула дверью, я так испугался, так ужаснулся перспективе очутиться в колонии, что наотрез отказался ходить в школу, сутками торчал в нашей

«душегубке» и даже не явился на похороны бабы Насти, опасаясь милиционера, которого, как я был уверен, Седовы припрячут для моей поимки... Горюя во сне о нянюшке, я проснулся в поту и с учащённым сердцебиением. ВГИК жадно умял за обе щёки остатки моей полудрёмы. Но ребёнок, которым я был, протянул мне ручку. А когда я почувствовал хруст его запястий, шероховатость кожи, пропахшей кострами и странствиями, сон вновь принял меня в свои объятия. И тотчас же я пододвинул стул к противоположной стене бабиного подвала, взобрался на него, чтобы во всех деталях разглядеть картину, где змейкой избегали к Гробу Господню эпизоды страстей Христовых: вход Господень в Иерусалим, омовение ног Иисуса грешницей, тайная вечеря, моление о чаше, поцелуй Иуды...

Как это славно, что я был отдан в опеку блаженной, что каждое слово, жест, поступок Бабы Насти походили на руки, молитвенно воздетые к Богу. И в то же время набожность украинки не была суровой, экзальтированной, как у католиков, и дышала трудами и смирением, но без протестантской чопорности, сводящей горячую веру к сделке, векселю, который следует погасить в срок. И во сне, догоравшем, как церковная свеча, в его оплывающем стеарине мне мерещились воскресные дни, когда, ожидая запропастившуюся мать, мы толкли медным пестиком в ступе сухарики, чтобы, ссыпав крошево в кульки из газеты «Правда», идти в парк и кормить птиц. Но приязни к сироте не могла простить праведнице ворчливая дворничиха Стефа, мужа которой, Юзыка, убил наповал советский плакат во время ветреной погоды.

Я боюсь Стефу. Но ещё больше дворничихи, швырявшей мне в лицо проклятия, опасаясь, что прошлое, заглянув на огонёк, уйдёт по-английски. Я не могу этого допустить, и окатываю ушатом ледяной воды воображение, чтобы заново сколотить скорбный инвентарь: немецкие пузатые шкафы, набитые сервизами, уставшими скакать со свадебных столов — на поминальные. А, схватив кусок серебра, я отливаю вдовье колечко, чтобы положить в торбу погонщика. И весь этот реквизит позванивает, постукивает, возвещая о своём скором прибытии. Баба Настя вновь готовит цикорий. И напиток, врывающийся в лёгкие ароматом арабских пряностей, приятно щекочет мои авитаминозные губы. Мысленно я касаюсь кончиком языка изгиба фаянсовой кружки с витой ажурной рукояткой, которую баба Настя называла «горнетко». Цикорий обжигает нёбо, и крошки бисквитного печенья «madeleines» в форме морских гребешков, рассыпанных на белоснежной скатерти памяти, я старательно собираю в кулак, чтобы сунуть в рот. Вот-вот и я услышу, как скрипнут половицы под босыми пятками бабы Насти, вышедшей ко мне из своего небытия. Милая нянюшка! Я боюсь спугнуть твою тень, и, сощурившись, подставляю зардевшуюся щёку под твои сухие старушечьи губы... А однажды, устав тянуть ляжку, мать притворяется мёртвой, и я едва не схожу с ума, умоляя её открыть глаза. А через неделю она приводит в комнату мужчину, высокого, коротко остриженного, с глазками узкими, как монетоприёмник у автомата с газировкой. Он тут же выключает свет и приказывает мне отвернуться к стене. Но я не желаю дышать ворсом

коврика. Я любознателен. И то, что запечатлевает сетчатка моих детских, широко распахнутых глаз, навсегда отравит мою жизнь...

И вновь грохочут сапоги. А, отперев аудиторию, дембелёк тормозит полусонные лампы и обходит декорацию. От него разит водкой, по пути он сшибает реквизит, запутывается в кабелях, кого-то проклинает, но Бог залепляет мне уши. Ему угодно, чтобы я вновь, как в далёком детстве, спас бабу Настю от гибели. А ещё Господь прикладывает палец к губам, чтобы ангелы, подоспев, не спугнули моё возвращение в утраченное время. Я так польщён, так воодушевлён высоким покровительством, что немедленно врываюсь в то воскресное утро, когда, надев майку, шорты и сандалии на босу ногу, сбегал по парадной лестнице к распахнутой настежь двери, ведущей на залитую солнцем улицу. Перед «брамой», — так в довоенной Польше называли парадное, — напротив мусорных баков, «банякив», как их злобно именovala Стефа, располагалась деревянная дверь, ведущая в подвал бабы Насти. Сколько раз я скребся в эти райские врата! Отдышавшись, я прислушался. Но не стал стучать, а робко протолкнул пальцем газетный катышек, которым закупоривалась щель, — чтобы отвалить тяжёлый засов, изнутри запиравший светлицу, следовало продеть в отверстие кривую отмычку. Затем загнутым коготком полагалось нащупать дюжину отверстий, чтобы, поддевая каждое, продвинуть стальное полотно. Но я протолкнул комок газеты совсем с другой целью. Я хотел прильнуть глазом к отверстию. Зачем? Этого я не знал. Но я прильнул. И ужаснулся, отчего дыхание перехватило, а сердце едва не выскочило из груди. Я увидел безобразную толстуху с копной вздымавшихся и опадавших на плечи цыганских волос. Дьяволица душила бабу Настю. Жирные пальцы, стянутые перстнями, впились в старухино горло. Баба хрипела. Но тут я так заорал, так забарабанил кулачками в дверь, что мне тут же отворили. Я ворвался и обнял бабу. А злобная ведьма с бычьей шеей окинула меня презрительным взглядом. С трудом колыхая бёдрами, бесовка поднялась по скрипучим ступенькам подвала и ретировалась. Я помешал ей пожить. А проклятия, сыпавшиеся из гнилого рта старьёвщицы, жабами прыгивали с перекошенных злобой губ. Подвал был лакомым куском, но, встретив отпор, чертовка не отважилась на повторный визит. Выходит, я совершил богоугодное дело, спасая бабу. И в тот же вечер какой-то молодящийся старик с зонтом-тростью тронул меня за плечо. Я отпрянул. А утром следующего дня, войдя в наш двор-колодец, получил пивной бутылкой в лицо от урки. Зарёванный и окровавленный я поплёлся в комнату, придерживая изрезанными пальцами, массивный осколок стекла, — тот и не думал убираться из скуловой кости. Фельдшер «скорой», штопая рану, всё приговаривал: «не плач, калач!» А матери велел поставить свечку Николе Угоднику.

— Сантиметр вправо — без глаза, сантиметр влево — труп, — в каком-то приподнятом настроении произнёс он, деловито укладывая инструменты в саквояж и протирая пальцы спиртом, от ядовитого запаха которого я тут же перестал подвывать. Но вот запах спирта выветрился. И также, подобно эфиру,

улетучилось и моё детство. Забегая вперёд, скажу, что спустя пятьдесят лет, окидывая взглядом прошлое, я сел за роман, который начал со сцены гибели ребёнка: «...и почему ребятня не сверкает пятками, когда площадку облепляют взрослые? Васька был философом в свои десять лет, и когда бутылку хватили о горку, начинили ненавистью и метнули ему в лицо, не стал уклоняться, — буллит заворачивал...Само время бухнулось в обморок, и подранок погрузил в его рыхлую плоть свои холодеющие пальцы. В полудрёме Васька увидел, как, блеснув на солнце, нож очистил яблоко от жмыха. «А что есть смерть, — подумал мальчик, — как ни лёгкий перекус...» След от зубов остался на сочной мякоти плода, уже подвергшегося ржавлению. И Васька с замиранием сердца ждал, когда щербатое стекло штопором вывинтит морозный воздух из апрельского полузабытья. А, намотав баллистическую кривую на височную кость пострела, осколок уселся в его щенячьим мозгу, точно там ему и было место...»

Целый месяц я монтировал и озвучивал короткометражку. И каждую ночь, проводимую мной в полубреду, владелец зонта-трости захаживал в аудиторию № 218-ть, чтобы составить график моих нервных срывов. Затем, облачившись в черную водолазку (à la Стив Джобс), он вошёл к ректору N., поначалу приняв хозяина за кучерявого электрика, из нагрудного кармана которого норовила высунуться и выругаться отвёртка. Но, убедившись, что человек в «сером» вовсе не наладчик, приглашённый чинить лампу, а ректор ВГИКа, чёрт представился членом отборочной комиссии. Сев напротив, он посетовал, что «Левшу» завернул Берлин. Но отказали и Сокурову с «Молохом». Ректор N. скис, а гость стал воодушевлять, мол, не всё так плохо, ведь то, на что не отважились немцы, сделали французы.

— Что сделали?

— Как что? — бес развёл руками. — Теперь оба фильма о Гитлере попали в Канн. А это успех!

Он быстро встал, пожал руку ректору, но в дверях скорчил гримасу неудовольствия и посетовал на бесприютность автора «Левши». Ректор N. сказал: «Мы это исправим», и в тот же день декан S. вручили мне ордер на поселение в общежитие. Замысел лукавого был прост, как всё гениальное: столкнуть лбами двух Гитлеров и этим разжечь страсти. Так и случилось. Но прежде я испытал перемену участи. Ведь, узнав о выборе Канна, меня стали душить в объятиях гонители. Сам ректор N. уполномочил меня представлять институт, а декан S. обивал пороги Минкульта, чтобы выхлопотать деньги на карманные расходы.

Но были и «суды чести». Завтра лететь в Париж, а проректорше S. срочно подавай львовянина. Заглядываю. А мне с порога:

— Верните украденное!

Недоумеваю. И тогда, предложив присесть, дама с лицом отроковицы, которую оторвали от чтения «Псалтири», заводит разговор о пиите и без пяти минут нобелевском лауреате. Мол, обокрали. Увели «персонажа». И, уставив в меня укоризненный взгляд, чиновница кладёт на стол книгу Эриха Фромма «Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии».

— Читали?

— Листал...

— А ещё протирали штаны на лекции драматурга А., где книга пересказывалась от корки до корки. Там вы и украли-с персонажа...

На ум приходят слова Порфирия Петровича «вы и убили-с», обращённые к Раскольникову. И, чтобы исключить недомолвки, я прямо и настойчиво смотрю в глаза проректорше S.

— Но, позвольте, — всё ещё недоумеваю. — Что, и у кого я украл?

— Украли Гитлера! — «аббатиса» тычет пальцем в книгу. — Слямзили персонажа у S. и А., а признаваться боитесь... Тут, перейдя на доверительный тон, мол, не поздно пойти на попятную и отказаться от участия в конкурсе, дама предлагает мне на выбор чай или кофе. — Вы же знали, что оба снимают фильм для Канна, и слепили поделку в надежде лишить авторов Золотой Пальмы. Только не отпирайтесь, дорогой мой...

Я поднимаю измождённое лицо и упираюсь взглядом во владельца зонтра-трости, но с залысиной, с эспаньолкой кондотьера, и в чёрной, обтягивающей впалую грудь, водолазке. Он стоит за креслом чиновницы, скрестив обе руки на груди.

— А этот что здесь делает? — говорю я в полуобмороке, поскольку, когда, смежив веки, вновь уставляюсь на «нехорошее место», призрак там нет.

— О ком это вы? — сановная дама смотрит поверх узких очков, сползших на переносицу.

— Ах, простите, — я с трудом унимаю кашель. — Болезнь, знаете ли...

Я расшаркиваюсь. Но у двери роняю взгляд из страха, что вновь увижу призрак и тогда опасения, что я не здоров, более не будут беспочвенны.

— Надеюсь, господин «без пяти минут» не обвинит меня в краже нобелевской премии? — ядовито улыбаюсь и притворяю дверь.

Всю неделю я проболел. Всё мучился клеветой и хамством чиновницы, говорившей со мной как с щипачём, срезавшим бумажник. Ведь всё было с точностью до наоборот. Это драматург А. захаживал ко мне на съёмки, и даже удостоил похвалой семилетнего Никиту. Выходит, пиит, похожий на гудоновского Вольтера, посмеивающегося над богобоязненными французами,

скрыл, что пишет сценарий о Гитлере, а моё невольное соперничество посчитал *угрожающим* в силу достоинств, которые в «Левше» разглядели критики.

Но победе моей в Кане помешал падший дух, сделав ставку на пожилого и больного диктатора. Заглянув в каталог фестиваля, я с досадой обнаружил, что из моей страницы вымарано все, что касалось «Ади», в то время как Гитлеру и Еве Браун, чей опереточный дуэт составил сюжет «Молоха», были отведены снимки и целая статья. Конкурента убрали довольно грубо. А, узнав, что «Пальма» досталась пииту, я отправился на набережную Круазет, чтобы искупаться. Солнце палило. И, купив марокканский арбуз, я уселся на пластиковый стульчик, вынеся его на мелководе, к которому приветливое море тут же устремило лечебное тепло. Следя за одиноким парусом, я вгрызлся в мякоть арбуза, а лазурная волна утирала с моих губ алый сок платком клокочущей пены. Пожилые англичанки аплодировали мне, немец кричал: «Браво!», а репортёр японец с объективами, облепившими его торс, как сосцы, оценившей волчицы, истратил на меня остаток плёнки, — так путешественник, уставший от диковинок, механически насаживает на иглу зазевавшегося жука.

Покончив с арбузом, я проплыл сто метров туда и обратно. Но надышаться воздухом средиземья помешал оператор «Левши». Оказалось, что ушлый паренёк тиснул брошюру на трёх языках. В ней он живописал творческие муки, которые распирали его, а не моё чело. Тиражом фальшивки хитрец набил карманы критиков и продюсеров. Но, не склонив их на свою сторону, отловил в кафе президента конкурса Cinéfondation Томаса Винтерберга.

— Но помилуйте, — взмолился неуступчивый датчанин. — В Кане соревнуются режиссеры, а не технический персонал...

Виттенберг сбежал, так и не допив кофе. А когда, узнав об интриге, я заглянул в кафешку, где всё произошло, мимо с шумной ватагой критиков прошёл владелец зонта-трости. Приметив меня, он остановился в полушаге. Губы окислились, зрачки расширились, а складки двубортного пиджака с распушенной поверх ворота гавайской рубахой своей изящной небрежностью выдали в падшем духе завсегдатая бутиков. Поравнявшись со мной, бес поправил на груди бейдж колумниста «Paris-Soir» и жестом велел спутникам задержаться.

— Не правда ли, господа, жалкое зрелище, этот конкурс.

— Вы полагаете? — попытался робко возразить итальянец. — А как вам фильмы из России, оба о Гитлере и оба на немецком языке?

— Не впечатлён, — сказал владелец зонта-трости. — Один вышучивает, другой оплакивает...

Бес подался назад, чтобы я почувствовал его сердцебиение, — ровное и невозмутимое, а вовсе не нитевидное, как у меня в ту горькую минуту.

— Как же тогда говорить о чудовищах? Уж не петь ли им хвалу вы предлагаете? — подлил масла в огонь поляк.

— Спросим у молодого москвича, — владелец зонта-трости обернулся ко мне лицом, будучи уверен, что в хлипком тельце, едва удерживавшем дух, никто не опознает автора короткометражки из ВГИКа.

— Позвольте узнать ваше мнение об изображении дьявола средствами кино? — обратился он ко мне на ломаном русском.

— Но я не говорю по-французски, по-английски, по-итальянски, по-немецки...

— Я переведу...

— Тогда скажите господам, что тот, кто на дружеской ноге с чёртом, трижды глуп...

Он перевёл.

— Любопытно, почему? — заинтересовался швед.

— Во-первых, бес обманет, посулив содействие... А без эксклюзива нельзя понять причину, толкающую падший дух к совершению своих мерзостей...

— А во-вторых? — опередил меня итальянец...

— Во-вторых, следует избегать глянца, — сказал я. — В видеоарте, а большинство экспериментов с ручной камерой относятся к home video, Ларс фон Триер снижает пафос высказывания за счёт прохудившегося кошелька.

— Только не нужно нам читать лекции о «Догме», — прервал меня поляк.

— Но русский прав, — вступил в беседу американец. — Безденежье развязало языки теоретикам кино. Так появилась «Догма». Как, впрочем, и догматики... Но нет ничего хуже инквизиторов в режиссёрских сутанах... И тех, кто с пеной у рта доказывает, что «чёрный квадрат» Малевича высокоморален, а изобилие птиц, рыб и окороков на холстах голландцев говорит об их алчности, я называю идиотами.

Бес похлопал американца по плечу.

— Но мне, коллега, все-таки хочется узнать мнение молодого русского. Он взял с барной стойки бокал вина и протянул мне.

— Так что вы думаете о «Догме»?

Я пригубил вино. И поставил бокал на стойку.

— Манифесты «догматиков» о пользе нестяжательства на меня навивают скуку, как полицейские протоколы, где воришки, попавшиеся с краденым, сетуют на босоное детство, — выпалил я и добавил, сбив темп: — И уж если приводить примеры удач минимализма, то Роберу Брессону и карты в руки, — вот, кто, оставив у рамки металлоискателя всё, что так дорого режиссёрам: поэтику, прагматику, идеологию, вошёл в кино нищим духом.

Бес перевёл мой спич. Раздались смешки и жиденькие аплодисменты.

— Но вы не сказали о третьей причине, делающей дьяволиаду глупой затеей, — прервал веселье поляк.

Я уставился на владельца зонта-трости, в его похохатывающие глаза, подёрнутые лазерево-жемчужной дымкой, уберегавшей от бездны, в которую мне не раз доводилось заглядывать, допил вино, хлопнул бокал о стойку и устремил в Люцифера указующий перст.

— Чёрт пусть и объяснит... — я быстро вышел из кафе, повалив какой-то столик и вызвав гневный окрик у официанта.

Добравшись поездом до Ниццы, я сел в самолёт, летевший в Москву. Я предвидел козни. И они не заставили себя ждать. Добравшись до института раньше, чем я, оператор ворвался в монтажный цех с договором о покупке «Левши» у ВГИКа и приказал монтажнице врезать в негатив фильма титр, где назвался «продюсером». Договор слепил проректор Р., сославшись на бумаги учебной студии, в которых моё имя даже не упоминалось. Узнав о закулисной возне, я написал гневное письмо ректору N., в котором напомнил о своих авторских правах. Я угрожал судом. И, вызвав меня в кабинет, тишайший «электрик» затрясся, точно от удара током. Уняв эмоции, в существовании которых трудно было заподозрить человека с вялыми голосовыми связками, по которым никогда не взбирался аккорд для окрика или стенания, дребезжащим тенорком он произнёс эпитафию над моей почившей в бозе «человечностью». В конце тризны ректор N. сказал, что «разочарован во мне и лишает своего попечения». Но падшего духа не удовлетворила «порка», и все уши он прожужжал чиновнику о вендетте, прибегнув к которой тот поднимется на ступеньку в «пищевой цепи». Отдав должное сомнению, которому профессор марксизма-ленинизма выучился у Декарта, ректор N. выдвинул ящик письменного стола с аккуратно разложенными блокнотиками и перьевыми ручками, достал овечьи ножницы, которые берёт для разрезания картона, а в другую руку взял приказ о посылке «Левши» в Нью-Йорк, на студенческий фестиваль. Изрезав лист, он смёл полоски в корзину и составил новое сопроводительное письмо. В него он включил этюд студента, не отмеченный ни одной наградой. Кафедры возмутились. Меня подбивали на бунт, требовали возглавить фронду, но я предпочёл проглотить пилюлю. А вскоре «Левшу» отобрали на фестиваль ВГИКа, где после слепоглухого Канна фильм мой услышали и разглядели. Восстановив в числе студентов, ректорат исключил меня повторно, не объяснив причину. Но я не поднял перчатки.

Меня увлекла философия. И, распрощавшись с кино, перебиваясь подёнщиной, я повернул глаза зрачками внутрь...

Гармония небесных сфер

Да будет сказкою земною!

Я — свет земли! Я — Люцифер!

Люби Меня! Иди за Мною!

Федор Сологуб

Двадцать лет я засеиваю себя и выпалываю сорняки. Я все ещё бодр, и тщеславие моё всё также притворно умирает, как куропатка перед лисой. Я истоптал ни одну пару башмаков на пути к себе. Потучневшие идеи я выгоняю на пробежки. А, прикорнув с книгой в руке, вижу сон, где проникаю в узкий, как кишка, кинотеатр со стойкой уличных мальчишек. Я прячусь от билетёрши. Но даже сквозь щель в портьере, в луче, бьющем из кинобудки, различаю сонм светлых духов. Ангелы снуют в потоке света как мотыльки, летящие на огонь. На экране светляки водят хороводы. И, приглядевшись, вместо полотна, натянутого на металлический каркас, я узнаю Херувима, сложившего крест-накрест четыре крыла.

Моя повесть окончена. Но поставить точку не позволяет «герой». Пестун, чьего ученика я умыл и причесал, не забыл обиды. Десять лет бес копил злость, чтобы не дать мне стать отцом, — младенцу предстояло удушение от гипоксии, если бы не решительность акушерки. А через год ротавирус свалил малыша и к тому, чтобы обездвигить и обезводить его тельце, демон приложил немало сил. Я отвёз малютку в больницу, но мстительный и коварный враг подослал в палату нерасторопную сестру, которая не сумела попасть иглой в вены и заявила, что поставить катетер не представляется возможным, но, поскольку ребёнок обезвожен, отпаивание — единственное, что его спасёт.

— Приступайте, папаша, — сестра вручила мне бутылку с регидроном, который я должен был давать больному по чайной ложечке каждые три минуты. Своё неумение она прятала за порывистостью, а дерзости, которые наговорила, сверкая пятками с «поле боя», вогнали меня в ступор.

— Вы что же бросаете нас? — спросил я.

— Я пришлю кого-нибудь, — пообещала сестра и виновато отвела глаза.

Мальчик тяжело дышал, был в горячке и не реагировал на мою речь. Я раздел его. Трясущимися руками разлиновал листы бумаги, положил телефон

с включённым таймером, налил регидрон в чашку и попытался поить ребёнка. Но тщетно! Я даже не смог донести ложку к потрескавшимся от жара губам. А если мне и удавалось поднести её, мальчик отказывался пить. Мной овладел ужас. Пот лил градом. Я выскочил в коридор. Во всех боксах было пусто и темно. Похоже, в этом крыле больницы не было никого, кроме нас с сыном. Следовало что-то предпринять. Придумать срочно, пока обезвоживание не убьёт мозг и не остановит сердце. Взломав сестринский шкаф, я стал сгребать всё, чем были набиты полки, затем выпотрошил бюро с погашенным ночником. Я нашёл упаковку со шприцами. Те, что на 6-ть и 8-кубиков, я бросил на пол, а те, что на два кубика, захватил с собой. Войдя в палату, я разорвал упаковку, снял иглы со всех шприцов, и наполнил шприц без иглы двумя кубиками регидрона, — как раз такое количество солевого раствора помещалось в чайной ложке. Я подошёл к кровати с годовалым сынишкой, лежавшим в памперсе с раскиданными в разные стороны ручонками.

— Глоточек и спать, — сказал я дрожащим голосом. — Ну-ка, милый, открывай рот!

Но уговоры не действовали, — мальчик спал мертвецким сном, и мной овладела ужас. Я не был уверен, что мне вообще что-либо удастся. Но я решил, что буду жёсток, что проявлю волю, что меня не остановят ни плач, ни мольба, ни сопротивление. Я даже удивился тому новому чувству, которое овладело мной. Вдруг действия мои обрели точность, а дыхание выровнялось. Склонившись над ребёнком, уверенным жестом я вставил черенок чайной ложки между его верхней и нижней челюстью и повернул слегка вбок, чтобы отворить ротик. Затем я вклинил между зубками шприц и впрыснул два кубика регидрона в ротовую полость. Ребёнок проглотил жидкость. Я положил шприц и ложку на чистые салфетки, посмотрел на часы в телефоне и записал время на разлинованном листе под цифрой один. Выждав три минуты, я повторил процедуру, не забыв при этом произнести, как мантру: «Глоточек и спать». Я так наловчился «отпаивать», так уверовал в свои навыки, что пренебрёг осторожностью и сократил время между приёмом регидрона до двух минут. И случилась беда — изо рта малыша забил фонтан. Это едва не свело меня с ума. «Должно быть, бес подучил», — подумал я и, путаясь в словах, кое-как произнёс молитву Господню. Затем я вытер воду с тела мальчика, обнял его, поцеловал и, как мог, стал утешать и воодушевлять. Через три минуты я продолжил «отпаивание», не позволяя себе вольностей. Ноги стали затекать. Глаза слипались. Пот застил взор. А спустя час в меня словно молнией ударила мысль, что я упустил что-то важное, что мне было строго наказано, каждые два часа менять памперс, а тот, что был использован, взвешивать на весах, чтобы знать наверняка, что количество полученной жидкости соответствует количеству выведенной. Если равновесие не соблюдается — почки отказали. Я подсчитал порции регидрона, взвесил сухой памперс, а затем тот, что снял с мальчика. Долго я не мог подвести баланс. Мысли путались. Руки тряслись. Но Бог миловал — количество полученной и выведенной жидкости совпало. На радостях я стал смеяться истерическим хохотом, повторяя, как в

полубреду: «Господи! Господи! Господи!...» Восемнадцать часов я держал вахту. А когда, заметив, что солнце стоит в зените, я заорал на весь коридор, в палату вошли реаниматологи. К моей радости, сынишка ожил и даже нахмурил бровки при попытке врача замерить уровень кислорода в его крови. Я позвонил супруге, зная, что всю ночь благоверная была поклоны перед иконой Божией Матери «Страстная», на которой два ангела держат в руках орудия крестных страданий Иисуса — губку, копие и крест... Утром, перед литургией, жена исповедалась отцу Роману, — крестному отцу семьи. И, услышав её горячую молитву, увидев кротость в глазах, Господь вернул сына семье.

Но при мысли, что ангел взял под крыло потерпевших, демон был так раздосадован, уязвлён и взбешён, что потерял аппетит и сон. Напасти, которые он насылал прежде, не казались ему пригодными. Восемь лет бес дулся, таская камень на сердце. А, исчерпав доводы рассудка, сплетя все возможные интриги, стал таскать каштаны из огня чужими руками.

В то лето стояла невыносимая жара. И как только август вытолкал на дачи петербуржцев, а лестничные марши оккупировали полчища мух, в дверь мою забарабанили налётчики. Оба были в балаклавах. В руках ножи. Со слов соседки, знавшей, что я увёз семью в провинцию, нападавшие требовали, чтобы их пустили, угрожали убийством за неповиновение, подбирали ключи к замку, а, не добившись своего, решили выкурить хозяев и подожгли дверь. Пламя сбил сосед. Но полиция отпустила «поджигателя», — им оказался худосочный студент, нахлебничавший у матери этажом выше.

От зноя время бухнулось в обморок и пружина его, соскочив, закатилась в подвал, кишачий крысами... Когда я срочно приехал из провинции, чтобы подать заявление в полицию, в доме сильно пахло серой... А что, если бес заглянул на огонёк? Я гнал эту мысль. А утром, осматривая опалённую дверь, наткнулся на слово «JUDE» и Звезду Давида. Чёрная краска не успела засохнуть. Струйки стекали. И, застыв в недоумении, я вспомнил кинохронику, на которой, схватив малярные кисти, штурмовики Рёма метили дома *недочеловеков*. В голове промелькнула мысль: а не еврей ли я?

Звоню в полицию. Но диспетчерша сообщает, что участковый занят.

— Чем?

— Он на трупе...

Через час вразвалочку из лифта выходит сержант. Снимает на гаджет звезду и обещает разобраться с шутником.

На другой день в дверь барабанит сосед Иван — отец пятерых детей.

— Кому вы наступили на мозоль, друг мой? — протягивает «письмо». Продолговатый конверт предназначался мне, но не был вложен в прорезь, а стоял поверх почтового ящика.

— И что внутри? — интересуюсь.

— Шприц, — добряк подносит конверт к свету. — А вот и наконецник.

Я беру конверт. И в самом деле, сквозь плотную бумагу проступает узкий предмет с продолговатой иглой.

Монтажник, приглашённый в тот же день, крепит видеокамеру на этаже. От сердца отлегает. И я успокаиваюсь, услышав, как уверенно вгрызается в кирпич его сверло... Но, не проходит минуты, как рабочий протягивает листок, который прищёпнул к двери субъект, поднявшийся на этаж выше. Я пробегаю глазами «записку об упокоении», где мне обещана встреча с Ваалом. А, погуглив, узнаю, что демон кровожаден, и в меню на обед у твари исключительно детвора. Моему сыну девять. Тот самый возраст! Дрожащими пальцами я обшариваю книжные полки, где на подобный случай мной припрятан охотничий нож. Запрыгнув в такси, еду в ближайший отдел полиции, врываюсь в кабинет оперуполномоченного, но сонный обладатель кожаной куртки, повертев «вещдок», что-то мямлит о гражданине, который был пьян, баловался пиротехникой, а за это «не сажают...»

— Что за новости? — говорю я. — Как можно вменять баловство с петардой молодчику, по которому плачет уголовная статья?

— Уголовная? — изображает недоумение полицейский.

— Именно уголовная, — настаиваю я. — Во-первых налётчики угрожали убийством, чему есть свидетель; во-вторых, умышленно подожгли дверь и предбанник жилого дома, где десятки людей могли сгореть, поскольку строение ветхое, с деревянными балками между этажами, а, следовательно, сложится как карточный домик, стоит пламени лизнуть разошедшиеся переборки...

— Но ведь не сгорело же, — говорит хозяин кабинета с пугающим безразличием. — И потом, — он ставит точку, — хулиган уплатил штраф в размере одной тысячи рублей.

Я вышел из отдела полиции с сильной мигренью и поплёлся домой, как солдат, прошедший полжизни в плену... Выходит, знамя победы, которое я вздёргнул на флагшток, сорвано и растоптано! Но вы ещё не знаете, господа, как я умею рвать зубами, — рвать, а не скрежетать! И, поднявшись в полный рост из окопа, по колено залитого ледяной жижей, я пошёл в штыковую атаку... И, о «чудо»! Дело о поджоге возбуждают, и даже длинный, как фонарный столб участковый, запыхавшись, ловит меня в нашем дворе, чтобы молча, не отрывая глаз, любоваться моим лицом.

— Что-то не так с носом? — тревожусь я.

— Нет-нет, — успокаивает. — Просто на моей памяти вы единственный, кто возбудил дело, не будучи адвокатом.

Я и в самом деле поднаторел в уголовном праве, и так наловчился извлекать улики, что без труда отыскал страницу поджигателя в социальных сетях. Анонимный никнейм он менял, а вот userpic никогда. Как я и предполагал, аватаром оказалась школьная фотография Гитлера, — та самая, по которой я отыскал Никиту Морякова, сыгравшего Ади в «Левше». Мою реконструкцию детства тирана блогер счёл кощунственной. Ресурс его пестрил выпусками Die Deutsche Wochenschau и кровоточил от сотен роликов о пытках и казнях. На фотографии сквозь балаклаву я узнал черты злоумышленника. Круг друзей состоял из таких же, как и он, одиозных персонажей, не ровно дышащих к истории третьего рейха.

Я обратился в полицию. Но не прошло и суток, как аккаунт исчез... Вот так дела! А что, если повелитель не даёт в обиду мух, которых я опрометчиво бил? Что, если бесы повязаны порукой? И с тяжёлым сердцем я отправился на свидание к следователю... Худой, как чёрт, с кисло-брезгливой гримасой на вытянутом лице, молодой дознаватель принялся поучать того, кто был старше его вдвое. Подозреваемого он называл «невменяемым юношей», которого нужно опекать, а не судить. Следуя этой логике, того, кто слаб умом, нельзя травмировать, и уж тем более не стоит торопиться с предъявлением обвинения. Эту заботу о презумпции невиновности поначалу я принял за чистую монету. Посыпались экспертизы. А поджигатель лихо сбегал по ступенькам мимо нашей квартиры, и, пересматривая видео, я ловил его дерзкие взгляды, намекавшие на высокое покровительство. Вот-вот и хитреца отпустят, чтобы, зализав раны, оборотень подкараулил сынишку при выходе из школы... Допустить этого я не мог, и, засев за учебники, стал заваливать экспертов возражениями. А когда психиатры сочли мои доводы разумными, бес подучил экипаж воронка подкараулить меня в тёмном дворе, чтобы с ветерком прокатить в отдел, где номер, набитый на моём велосипеде, сопоставят с теми, что числятся в угоне... Меня сунули в камеру. Но у девушки-диспетчера вызвало подозрение то, с какой спешкой гражданина, чьи жалобы она регистрировала, посадили к ворах. Тут же был вызван дежурный офицер. И, майор, вышедший «спасать» меня, сказал, что знает задержанного, и что в том, чтобы томить его, нет нужды. Меня отпустили.

Люцифер слонялся по аду сам не свой. А 31-го декабря, в девять утра, направил омбудсменов в мою семью. Казалось бы, всё пристойно: я сам просил признать сына потерпевшим, и прокурор, исполняя закон, поручил опеке проверить отца и мать: а что, если не злодей, а родители запугивали гимназиста «Звёздами Давида»? Эту мысль прокурору нашептал следователь, но Господь устроил так, чтобы опека вломилась в коммуналку, из которой семья давно выехала... Я подвергся допросу по телефону. Меня называли

«плохим отцом», что инспекторша выдала за факт, не требующий доказывания. А ещё чиновница досадовала на ошибку с адресом, не позволившую совать нос в «пустой холодильник», пересчитывать «дырочки» на носках малыша и выуживать «пыль» из-под его детской кровати. Всё это походило на кошмар с частыми пробуждениями в горячке, с глазами, воспалёнными от ужаса... Наконец, до меня дошло со всей очевидностью, которую прежде застила иллюзия о верховенстве права над произволом случая, что не монстра, тиранящего семью, а отца и мать пытаются обвинить. Подозрения унизили и оскорбили. И красное от горя и слёз лицо моей кроткой супруги заставило меня повесить топор в петлицу прохудившегося пальто. Я метался из угла в угол, грозил кому-то кулаком, а затем остановился посреди нашей комнатки, узкой, низенькой, напоминавшей футляр для очков, и тихо, одними только кончиками губ, сказал, ходившей по пятам супруге, что тот, кто посягнул на сына, «не жилец на этом свете!» Но эффект, произведённый чревоуещанием, был столь силен, вызвал такую бурю негодования, что мне не оставалось ничего другого, как выбросить из головы эту блажь. К тому же меня немедленно разоружили и усадили на диван. А после жарких объятий, споров и признаний в любви, которую следовало длить до гроба, мы наперебой заговорили о падших духах. И вскоре сомнения, что следователь на дружеской ноге с нечистым, отпали сами собой. «И в самом деле, — стал я перечислять аргументы, — разве тот, кто из жестокосердия науськивает опекунов вломиться в семью, в предновогоднее утро, чтобы застать врасплох, с конфетти и ёлочными игрушками в руках, разве тот, кто так поступает в Рождественский пост, не сам сатана?»

Успев на последнюю электричку, вечером того же дня супруга увезла сына к матери, в провинцию, — так должно быть спешно бежала в Египет и Дева Мария с первенцем Иисусом, спасаясь от солдат Ирода. А в канун Рождества, подложив муляж взрывного устройства под стену квартиры, поджигатель покатывался со смеху, рассказывая друзьям, как участковый привязывал к «бомбе» шнур и дёргал за него из-за стальной двери. Через день он явился вновь, чтобы стереть «Звезду Давида» и уставить в объектив камеры свой оттопыренный большой палец. В ту же ночь, раскрыв наугад Евангелие, я уткнул палец в слова Апостола Павла: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении»⁴. Стало светло и покойно на душе от этих слов. Ведь ясно же, что: «...надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся»⁵. Я захотел причаститься. И, проведя бессонную ночь за чтением святых отцов, отправился в храм Благовещения Пресвятой Богородицы, что на углу Малого проспекта и 8-й линии Васильевского острова. Я попросил охранника вызвать священника.

— Что тебе, раб божий? — услышал я тонкий голосок, и даже поначалу решил, что меня окликнул алтарный мальчик. А, обернувшись, увидел священника и склонил голову:

— Благословите, батюшка...

— Бог благословит!

Приземистый, поджарый, с аккуратно остриженной седой головой, крепко сжимая наперсный крест, отец Александр выслушал меня с трепетом душевным. На следующий день, после исповеди, без которой иерей не желал напутствовать, после покаяния, где я свалил в кучу все грехи, которые за собой числил, но не проявил страха Божия, незлобивый, кроткий и богобоязненный пастырь указал на врага, к которому я прикипел душой... И верно — прикипел! Да так прикипел, что свет лукавый принял за свет фаворский! Священник выждал, когда я выговорюсь. А, услышав о поджоге, широко улыбнулся и закивал головой, точно знал заранее о каждом шаге поджигателей. Отец Александр вызвался освятить жилище. В условленный час мы встретились на Малом проспекте, на углу 15-й линии. Он шёл в подряснике, с кадильницей и бутылкой святой воды. Он светился лучезарной улыбкой, словно шёл не чертей изгонять, а трапезничать с ангелами...

— Спасибо, батюшка, что выкроили час.

— Бога благодарите, а не меня, — сказал иерей и протянул бутылку. — Несите. Помогать будете...

Войдя в квартиру, мы обошли её посолонь с горящей свечой. Мы читали «Отче наш». Но прежде я смастерил из салфетки «юбочку», чтобы воск не обжигал пальцы. Затем, читая молитвенное правило, иерей стал кропить углы святой водой. Помогал и я: запинаясь, читал «Отче наш», окунал сложенные в троеперстие пальцы в воду и кропил крестообразно углы, двери, окна.

Через три дня позвонил следователь и сказал, что дело закрыто.

— Почему?

Он долго сопел в трубку, скрывая досаду на человека, удивившего и его, и начальство, и даже, предположу — хозяина зонта-трости:

— ... подозреваемый мёртв...

Умеет же огоршить, подумал я, и опять вспомнил слова Порфирия Петровича: «...да вы и убили-с». На ум тут же пришла сцена с топором, который я сунул в петлицу, и слова о том, что, посягнувший на сына, «не жилец». Но я не убийца! И если и воображал «что», то без намерения, без плана осуществить фантазм... Я мечтал о справедливом воздаянии... Но нет суда, чтобы привлечь за мечту, за воображаемое... Мысль ведь пустяк, не стоящий и выеденного яйца; или — то, выше чего только Бог... Значит, мысль от Бога! Я вертел этот довод на кончике языка. И не мог взять в толк, как возможно, что, разгоревшись, точно спичка, мысль зажигает сердца, чтобы отапливать космос еретиками... Выходит, мысль не одному лишь Богу подотчётна? И разве падший дух, вскочив в стремя, не пускает плутовку то

иноходью, то рысью, то галопом? Какой сюжет для будущей повести! Но в этой я ставлю точку.

Санкт—Петербург, 23 февраля 2023 г.

...trinocular

t r a c t a t u s